

Russian Academy of Sciences
Institute of Philosophy

A. Yu. Antonovskiy

**COMMUNICATIVE PHILOSOPHY
OF KNOWLEDGE: FROM THE THEORY
OF COMMUNICATIVE MEDIA TOWARDS THE
SOCIAL PHILOSOPHY OF SCIENCE**

Moscow
2015

Российская Академия Наук
Институт философии

А.Ю. Антоновский

**КОММУНИКАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ
ЗНАНИЯ: ОТ ТЕОРИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ МЕДИА
К СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ НАУКИ**

Москва
2015

УДК 101.8
ББК 15.13
А 72

В авторской редакции

Рецензенты

д-р филос. наук *В.И. Аришинов*
кандидат филос. наук *В.А. Емелин*

А 72 **Антоновский, А.Ю.** Коммуникативная философия знания: от теории коммуникативных медиа к социальной философии науки [Текст] / А.Ю. Антоновский ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2015. – 168 с. : ил., табл. ; 17 см. – Рез.: англ. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0292-8.

В издании анализируется теория коммуникаций, но не во всем ее широчайшем формате, а в ее специальном эпистемологическом прочтении. Особое внимание уделяется эволюции обобщенных символических медиа коммуникации, прежде всего универсальным средствам распространения коммуникации (языку, письменности, печати и телекоммуникации), а также символическим средствам достижения коммуникативного успеха, прежде всего – научной истине, знанию, научной теории. Рассматривается специфичность современного знания (научных объяснений, законов, понятий, практик подтверждения обобщений и убеждения) в контексте естественной коммуникации и с точки зрения коммуникативных условий повседневного понимания и взаимопонимания.

ISBN 978-5-9540-0292-8

© Антоновский А.Ю., 2015

© Институт философии РАН, 2015

Оглавление

Введение	7
Понятия <i>формы и медиа</i> как основания теории коммуникативных и психических систем.....	13
Коммуникативные медиа распространения знания: язык и письменность	37
<i>Знание/незнание</i> как ось коммуникативной дифференциации	66
Телекоммуникации – коммуникативные медиа современных обществ	76
Нормативные и когнитивные медиа успеха. Медиум истины и его генезис из ценностных установок.....	98
Знание в индивидуальной и в системно-коммуникативной перспективах. STS, ANT и TSS.....	112
О возможности общего <i>понимания</i> в расходящихся перспективах научного наблюдения.....	127
Summary	168

Contents

Introduction.....	7
Concepts of the <i>form and the media</i> as foundations of the theory of communication and psychic systems	13
The communicative media of knowledge diffusion: language and writing.....	37
The <i>Knowledge/Ignorance</i> -distinction as an axis of social differentiation	66
The tele-communicative media of the contemporary societies.....	76
The cognitive and normative media of communicative success: the medium of truth and its genesis from the value attitudes	98
The scientific knowledge in the individual and the systems-communicative perspectives: STS, ANT, and TSS	112
Towards the common understanding in the diverging prospects of scientific observation	127
Summary	168

Введение

В этой книге получит рассмотрение теория коммуникаций, но не во всем ее широчайшем формате, а в ее специальном эпистемологическом прочтении, причем особое внимание мы будем уделять так называемым коммуникативным медиа. К их числу принято относить как универсальные средства распространения коммуникации (язык, письменность, печать и телекоммуникацию), так и символические средства достижения коммуникативного успеха в специфических областях коммуникации.

В нашем случае речь преимущественно будет идти об истине, знании как особых символических средствах, позволяющих обособиться особому типу коммуникации, ориентированных на эти символы. Одновременно в таком анализе научной и других типов коммуникации нас интересуют прежде всего возможности исследования этого феномена, в свою очередь, как подлинного предмета научного анализа. При этом в дополнение к универсально-научным, прежде всего пространственно-временным измерениям коммуникации мы будем рассматривать это явление в рамках добавочного — коллективно-личностного измерения.

Этим коммуникация существенно отличается от «стандартных» предметов научного теоретизирования — движущихся тел в физике, эквивинально развивающихся организмов в биологии, трансформаций атомно-молекулярных связей в химии. В рамках означенного дополнительного измерения в анализе коммуникации можно будет учесть ряд ее фундаментальных значений, которые можно назвать «социальными каузациями». Речь идет о социальном измерении, в рамках которого действиям, высказываниям, коммуникациям и социально значимым

событиями приписываются самые разные типы «авторства» как специфические причины. Такое авторство может приписываться и коллективу, либо конкретному индивиду, либо самому актору, либо обстоятельствам. Эти особые предикации причинности характеризуют все типы коммуникации, не исключая и научного, и должны в этой функции «социальной каузации» учитываться при рассмотрении в том числе и научных высказываний и теорий. Этому будут посвящены последние разделы монографии.

Интерес к рассмотрению коммуникации с теоретико-познавательной точки зрения связан, прежде всего с чрезмерной *многозначностью* и сопряженной с ним дисциплинарной *непроясненностью* самого понятия коммуникации. Кажется, что нет такой гуманитарной дисциплины, которая не изучала бы коммуникацию. История, экономика, лингвистика, социология, литературоведение, социальная психология и социальная философия, этика и эстетика, философия языка и даже логика – все эти дисциплины пытаются тем или иным способом реконструировать и предложить свои формализации человеческого общения. Каждая из дисциплин предлагает соответствующее понимание и понятие. Встает вопрос о возможности обрисовать некие общие рамки понятийной концептуализации коммуникации, что, очевидно, представляло бы общепhilosophическую, эпистемологическую задачу. Это универсальное понятие могло бы далее специфицироваться отдельными дисциплинами, выделяющими в нем свой собственный, уникальный аспект или предмет. Потребность в эпистемологической интерпретации коммуникативных процессов связана поэтому с возможностями и *редукционистской*, и *универалистской* ее интерпретации. Поэтому, с одной стороны, мы

имеем дело с узкосоциологическими понятиями коммуникации¹, а с другой стороны – с избыточно широкими обобщениями². И именно понимание коммуникации как особого рода когнитивного процесса дает возможность выхода за пределы Сциллы редукционизма и Харибды универсализма.

Особый интерес к исследованию современных типов коммуникации вытекает из того значения, которое приобретает *неудавшаяся коммуникация*. Последнее явление можно рассматривать как некоторую глобальную проблему современного общества, словно сотканного из коммуникативных границ: расовых, гендерных, возрастных, культурных, политических, религиозных, языковых и многих других. Невозможность их преодоления и проистекающие из этого трудности понимания и соответственно отклонения предложенных коммуникаций, не в последнюю очередь могут рассматриваться как причины социальных конфликтов, препятствий на пути трансляции и диффузии знания, фиаско программ по интеграции и социализации культурных меньшинств. Это требует экспликации условий коммуникативного успеха и определения понятия успешной коммуникации. Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Является ли сам факт коммуни-

¹ См. пример сужения сферы коммуникативного до бихевиористской модели общения, выступающей в лучшем случае в виде политологической эвристики и методологии: *Lasswell H. Propaganda, communication and public order. Princeton, 1946.*

² В этом случае понятие коммуникации может охватывать широчайшую сферу взаимодействий, включающих невербальные человеческие контакты, обмен данными восприятия у животных, трансляцию машинных данных, телепатию и даже коммуникацию между грибами и растениями, клетками и митохондриями, генами и фенотипами.

кации демонстрацией ее успешности?³ Или же коммуникация всегда носит подчиненный и скорее инструментальный характер, ориентированный на достижение некоторых внешних по отношению к коммуникации целей и задач, и не может рассматриваться как «собственное достижение», т. е. нечто ценное само по себе. В этой связи важно прояснить не только понятие коммуникативного *успеха/фiasco*, но и дополнительных по отношению к коммуникативному общению (если не противоположных, и при этом коммуникативно-необходимых) феноменов паузы, молчания, прерывания коммуникации. Последние парадоксальным образом и в свою очередь оказываются важнейшим вкладом в коммуникацию.

Однако особенный интерес представляет разработка и экспликация собственно теоретико-познавательного содержания коммуникации, как и реконструкция традиционной вписанности коммуникативной проблемы в историю развития философских, прежде всего эпистемологических идей и концептов. И все же долгое время не представлялось очевидным, что коммуникация прежде всего является эпистемологическим понятием и проблемой. Так, в классических философских учениях (при всем том, что именно Аристотель дал именно «коммуникативное» определение человека как «говорящего животного») речь шла о сферах бытия, по-видимому, не включавших коммуникационную сферу⁴. В этой связи интерес пред-

³ Как это имеет место, например, в отношении мирных переговоров, сам факт которых – безотносительно достигнутых результатов – уже оказывается некоторым успехом, прерывающим военные действия.

⁴ Так, классическое деление на три сферы сущего: теоретическую (математика, физика, метафизика), практическую (этика, политика) и поэтическую (поэзия, экономика), очевидно, не включает в себя особую область – область общения. См.: *Аристотель*. Метафизика. Кн. VI, гл. 1-я; Топпика. Кн. VI, гл. 6-я.

ставляет именно философская концептуализация коммуникации, поскольку это понятие позволяет в некотором смысле «спасти» и саму философию. Философия, анализируя коммуникацию, словно возвращает актуальность классическим философским проблемам – (коммуникативному) пространству, (коммуникативному) времени, (социальной) каузальности, (коллективным) субъекту и объекту, наполняя их содержательными характеристиками и проверяя свои построения на опыте функционирования реального общества и общения.

К перечисленным выше вызовам требующей эпистемологического анализа коммуникации относится ряд совершенно новых обстоятельств, связанных с развитием информационных сетей и ЭВМ, делающих возможными «нетрадиционные» вне-человеческие, вне-социальные и даже вне-смысловые типы коммуникаций. Речь идет о символических аспектах животной коммуникации, об осуществляющейся в наше время коммуникации между вычислительными машинами, о загадочном онтологическом и эпистемическом статусе программ и алгоритмов, которые представляют и кодируют осмысленные реакции на входящие сигналы, но очевидно не «переживают» машинами (как некими аналогами сознания) в виде чего-то осмысленного в человеческом понимании этого слова.

Такого рода «общение», кроме того, очевидно, не ориентировано на различие *известного и неизвестного*, на явным образом (материально) презентированного *знакового сообщения* и недоступного («скрытого» в черепной коробке) индивидуального смысла сообщения, – различия, которое всегда мотивировало, провоцировало и поддерживало человеческое общение. Сделает ли машинная

коммуникация возможным общением совсем иного рода, где закрытость чужого сознания перестанет быть главным вызовом и интересом коммуникативного акта?

В этом смысле эпистемологическое содержание понятия коммуникации оказывается связано с несколькими аспектами человеческого познания. Во-первых, речь идет о ключевой проблеме адекватного *понимания* высказывания Другого, реконструкция которого затруднена в условиях недоступности чужого сознания. Во-вторых, проблема коммуникации связана с принципиально двоякой целью любой коммуникации, ориентированной, с одной стороны, на интеграцию и взаимопонимание, а с другой – на информационное описание предмета высказывания. В-третьих, коммуникация основана на важнейшем эпистемологическом различии *знания/незнания*, т. е. известности некоторой информации одному участнику коммуникации и ее неизвестности другому, что собственно только и провоцирует образование коммуникативных систем и самых разнообразных форм социальности. В-четвертых, коммуникация, раздваиваясь на общение когнитивное и общение нормативное, тем не менее в целом остается изоморфной процессу познания, поскольку всегда предстает *рациональным выбором* (и в этом смысле – *познанием*) между субъектным и объектным истолкованием того или иного сообщения, *рациональным выбором* между интерпретацией высказывания как нацеленного на поддержание сплоченности (общение известного) и интерпретацией высказывания как нацеленного на сообщение о новом и неизвестном. В этом смысле, в-пятых, анализ структуры коммуникации как раз и претендует на решение проблемы *рациональности человеческого поведения*, поскольку такой анализ, с одной стороны, некоторым образом позволяет реконструировать сложное отношение между целью и выбором адекватных средств целедостижения, с другой стороны, воспроизводит идеальную ситуацию познания (Ю. Хабермас).

ПОНЯТИЯ *ФОРМЫ И МЕДИА* КАК ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ КОММУНИКАТИВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ СИСТЕМ⁵

Понятие формы – одно из древнейших философских и научных понятий, применяемых в большом числе научных дисциплин, математике, физике, биологии, социологии, лингвистике и когнитивных науках (в особенности в философии сознания, теориях искусственного интеллекта, философских теориях науки и, конечно, в самой науке). Попробуем дать – пусть фрагментарный и неполный – обзор применений этого понятия в лингвистике и философии сознания и показать связь понятия формы и процесса коммуникативного понимания, которое это понятие делает возможным. Последнее предполагает прояснение роли формы для понятия коммуникации.

⁵ Глава написана при поддержке фонда РГНФ, проект № 14-03-00811.

Теория медиа восприятия Фрица Хайдера

Теория медиа распространения коммуникации в отчетливом виде формулируется в теории медиа-наблюдения, сформулированной австро-американским психологом Фрицем Хайдером⁶. Его идея состояла в следующем: с точки зрения нейрофизиологии мы видим и слышим предмет внутри себя в ушной мембране и на сетчатке. Но из перспективы индивидуального сознания он переживается как находящийся в отдалении. Но как это возможно, ведь сознание не испускает манипулятивный луч, не задействует сонар, как бы «возвращающий» в сознание внешние характеристики предмета, как это делают летучие мыши и дельфины. Объяснение этому процессу Хайдер усматривал в той когнитивной функции, которую выполняют *инструменты или медиа наблюдения* в их роли относительно независимого посредника между восприятием и его предметом.

При этом ключевое значение имело то обстоятельство, что сам этот посредник как раз и *ускользает от восприятия*, хотя именно он отвечает за корреляцию между наблюдением и характеристиками предмета. Следовало прояснить значение каналов трансляции наблюдения (а именно, медиума воздуха — для звуковых образов, принимающего *форму* звуковых волн; и медиума света, принимающего *форму* электромагнитных волн). Эти медиа, очевидно, включались в некую каузальную цепь: освещающее (солнце), освещенное (предмет), отраженный свет, воздействие на сетчатку, передача электрохимического импульса по главному нерву, активация нейронных паттернов в мозге и, наконец, — феноменально переживае-

⁶ Heider F. Ding und Medium (1927). В., 2005.

мый образ в сознании. Однако возникают вопросы: почему в этой цепи равноправных причин и следствий мы видим только предмет как некоторое *выделенное* звено? Ведь наблюдение, очевидно, детерминировано двояко: и свойствами медиума, и свойствами воздействующего на медиум предмета?

Эти соображения заставляют вносить некоторые коррективы в концепции истинности. Медиа восприятия (свет и воздух) выступают переносчиками энергии, импульса, который они словно получают от предмета наблюдения. Сам предмет при этом оказывается в некотором смысле второстепенным. Более того, то, что он «отпечатывает» в медиа наблюдения, оказывается дефинитивно-ложным, поскольку передаваемые им характеристики (характеристики колебаний, интенсивность и частоты волн) ни количественно, ни качественно не соответствуют феноменально наблюдаемому предмету. Они словно выступают в функции «означающего» (если использовать терминологию Соссюра), находящегося в каузальной зависимости с «означаемым» предметом, при этом несколько не похожим на последний. Возникает вопиющая несоразмерность: наблюдателя-человека в большей степени интересуют соразмерные ему макропредметы – движения автомобилей, падающие камни. Но в процессе фактического восприятия (конечно, за исключением деструктивных воздействий) они-то нас непосредственно «не касаются». Напротив, несоразмерные нам микрообъекты (электромагнитные и звуковые волны), воздействуя *фактически* на нас, сами ускользают от наблюдения.

Такое понимание наблюдения трансформировало представление о классической корреспондентской теории истины. Восприятие как форма наблюдения посредством медиа оказывается единством одновременного отрицания

и утверждения, поскольку наблюдение концентрируется на предмете, к которому у наблюдателя нет *фактического* доступа, и не замечает фактическую данность медиа, фактически воздействующего на органы восприятия. В этом смысле наблюдение ошибается уже тогда, когда сосредотачивается на чем-то центральном, «интересном» для наблюдателя. Наблюдение создает асимметрию, поскольку переоценивает фактически ненаблюдаемое «означаемое» и недооценивает фактически касающиеся нас медиа восприятия. В момент наблюдения от наблюдателя как раз и ускользает то, от чего он отличил наблюдаемое (и прежде всего, конечно, от него ускользают сами медиа наблюдения как «слепое пятно» этого наблюдения).

Эти соображения впоследствии были применены к теории *коммуникативных медиа*. Медиа коммуникации (власть, истина, деньги, любовь) в их функции инструмента, облегчающего, канализирующего и разгружающего общение и гарантирующего их успех, точно так же оказываются «слепым пятном» коммуникативного обсуждения в соответствующих системах (на уровне простого наблюдения). Однако способны стать предметом обсуждения на уровне наблюдения второго порядка (в теории познания, в политической рефлексии, в теологии, в любовных романах, в критике произведения искусства и т. д.). Однако эти «катализаторы» и одновременно условия специфических типов коммуникации, в свою очередь, требуют объяснения и экспликации их собственных условий и предпосылок.

Речь идет об особой функции *распространения коммуникации* и в первую очередь — об устной речи, письменности, печати, кино и телевидении, электронных медиа и социальных сетях. Благодаря этим медиа в коммуникации обсуждается (= наблюдается) некоторый предмет, а

все остальное, и прежде всего сами медиа, выводится из коммуникативного обсуждения, подобно тому, как медиа восприятия (воздух и свет) сами ускользают от их восприятия. Ключевую роль в этом списке, однако, следует отвести техникам письменности и книгопечатанию. Именно эти медиа позволили на время решить социально-интегративные проблемы, возникшие как ответ на (дез)организующие функции языка. Такая социальная дезорганизация была связана прежде всего с возможностями языкового отрицания и, как следствие, – с запрограммированным в языке конфликтным потенциалом отклонений всякой вербально предложенной коммуникации.

Именно вследствие развития медиа распространения коммуникации возникают и вышеозначенные медиа коммуникативного порядка, во всей полноте реализовавшиеся лишь в современном дифференцированном обществе. Ведь «продвинутые» медиа распространения приводят к фактическому распадению (в пространстве и времени) коммуникации на ее составляющие. Так, акт коммуникативного сообщения (материальный субстрат и существо коммуникации, в фактичности которого невозможно сомневаться) утрачивает пространственно-временную связь с реакциями на это сообщение: с актами извлечения информации, понимания и акцептации (или отклонения) предложенного сообщения. Понимание коммуникации, стремительно распространяющейся благодаря возможностям печатной или электронной теле-транспортиации, получает независимость от заложенных в сообщение первоначальных интенций.

Это означает, что в современных условиях адресат коммуникации уже не имеет ресурсов для адекватной реконструкции предложенной Другим коммуникации. И прежде всего он неспособен протестировать ее на

предмет самореферентности и инореферентности: т. е. оценить в отношении того, идет ли речь в предложенном сообщении об *информативном* описании ситуации или объекта интереса или же речь идет попытке Другого так или иначе мотивировать своего партнера (на контакт, совместное времяпрепровождение, согласие, определенное действие или расположение).

Законы формы Дж. Спенсера-Брауна

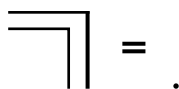
Дальнейшее уточнение понятие *формы*, в интересующем нас контексте, получает в разработках английского логика Дж. Спенсера-Брауна⁷. Его представление о форме повлияло на социологическую теорию, прежде всего на теорию коммуникации. В этом исчислении задействован всего лишь один знак – “mark”, являющийся и оператором или логической функцией, и переменной.



Но несмотря на свою простоту и элементарность, этот знак все-таки уже содержит некоторую латентную информацию. Этот символ представляет некий элементарный (но тем не менее составной) акт наблюдения. Последнее понимается как одновременно осуществляющийся процесс *обозначения и (через) различения*. Поскольку он состоит из двух частей, он указывает на то, что ко всякому воспринимаемому предмету должен добавляться

⁷ *Spenser-Brown G. Laws of Form. Ohio, 1974.*

модус его презентации, наблюдения, операции с объектом. Отсюда вытекают некоторые онтологические следствия. Мир, данный в знаках, должен пониматься как состоящий не из вещей (затем объединяемых в категории), а из наблюдений вещей и операций с вещами. Поэтому во всяком предмете наблюдения надо изначально учитывать *два обстоятельства* – сам предмет и его наблюдение. Во всякий предмет изначально включено социальное измерение, требующее ставить вопрос: кто наблюдатель?



Это закон утверждает, что у *процесса, понятого как различение различений, нет коррелятов в мире*. Результатом применения *марка к самому себе* является некое пустое пространство. Существуют лишь различения и никаких других сущностей или идентичностей, которые бы не были следствиями различений (= конструирующей активности наблюдателя). Всякий наблюдатель наблюдает через применение различений: *означающее* отличая от *означаемого*, *слово* отличая от его *смысла*, предмет обсуждения – от самого процесса обсуждения, *предложение* – от «предложенного к обсуждению» *события*. Возникает вопрос о том, что представляет собой сама *операция отличения* и может ли эта операция представляться отдельно – независимо от двух получаемых в результате отличения сторон; как то, что выражает их единство, а не различность.

Например, мы не можем задать классический вопрос «что есть человек», не поставив вопрос о том, кто ставит этот вопрос. Священник может утверждать, что человек

есть существо, обремененное грехом. Но в ответ ученый медик может утверждать, что священник наблюдает человека исходя из неререфлексивно используемого различия: *божественное/человеческое, безгрешное/греховное*. Семантика этого понятия, т. е. определение человека как греховного существа, определяется спецификой социальной структуры, церкви, социальной системой религии, с ее особым типом наблюдения, которое само по себе является для нее слепым пятном, которое не позволяет увидеть священнику единство его различия, которое выступает неким инструментом для конструирования идентичностей (людей, ангелов и т. д.) Впрочем, и сам ученый медик, определяя человека в качестве существа, обремененного болезнью, не видит того, что семантика его понятия человека определена конститутивным для системы медицины различием: болезни и здоровья.

Примерами дальнейших различий могут служить дистинкции *слово/смысл, действие/переживание, истинное/ложное, законное/незаконное*, которые выступают такого рода инструментами конструирования идентичностей.

Идея Спенсера-Брауна состояла в выявлении законов такого рода конструирования. Особое значение имел так называемый *закон пересечения границы различия*, допускающего выход за пределы различенного и тематизацию границы, конституирующую форму. С чем сталкивается наблюдатель (скажем, социолог или теоретик познания), если концентрируется (= отличает и обозначает) саму операцию такого различия? Скажем, социолог науки, пытаясь описать деятельность ученого, его когнитивные инструменты, сосредотачиваясь на том, что для самого ученого (скажем, химика) представляет собой неререфлексивно используемые средства исследования? Например, он может фиксировать ту роль, которую играет ложное

знание в качестве средства повышения вероятности и одновременно ограничителя истинного знания (К. Поппер); каковы его когнитивные цели и установки; каковы принципы рациональности (рационального объяснения и понимания); какова динамика изменения применяемых им теорий, их отношений с законами, эмпирическими подтверждениями и т. д. Практикующий ученый решает конкретные исследовательские задачи и редко рефлексировывает над методолого-теоретическими предпосылками своих исследований. Конечно, социолог науки, выступая наблюдателем второго порядка, способен увидеть больше, поскольку способен различить между тем, что является истинным знанием, и тем, что на этот статус претендовать не должно, может поставить вопрос о различии истины и знания и т. д. Для ученого-практика это различие бессмысленно, поскольку всякое знание полагается им как истинное. Платой за этот большой наблюдательный обзор (способность увидеть и различить то, что есть, и то, что является знанием) служит неспособность социолога науки понимать реальность как нечто естественно-данное, свободное от вносимых различий, избирательного характера научного исследования. Он интерпретирует мир вещей как следствие вносимых наукой различий, мир, непосредственный доступ к которому в этом смысле невозможен. Мир, в который не внесены различия, может пониматься как неотформатированное пустое пространство, хаос, неупорядоченность, отсутствие возможностей восприятия и обсуждения.

Лингвистическая интерпретация законов формы Дж. Спенсера-Брауна

Более конкретно этот закон можно проиллюстрировать с помощью понятий *индикация* и *дистинкция*, *самореференция* и *инореференция*.

Говоря о чем-то, мы фокусируем внимание либо на некотором означаемом (скажем, на референте в виде яблока, *отличая* его, скажем, от груши. Индикация и дистинкция здесь осуществлены *инореференциально*, применяются к внешнему для самого слова референту.

Но мы можем осуществить индикацию и дистинкцию также и *самореференциально*, т. е. применительно к слову «яблоко», отличив его от слова «груша» или от некорректных лингвистических форм, например от «яблоко».

Итак, мы проводим *инореференциальные* дистинкции между значениями и, как следствие, вводим в коммуникацию «объективные» индикации — обсуждаем реальные яблоки и груши и иногда — различия между ними. Но мы способны выйти за пределы реального мира и обратиться к самой коммуникации — ввести самореференциальные различения: например, дистинкции между самими лингвистическими формами, между словами, предложениями («яблоком» и «яблоком» или «я», «б», «л», «о», «к», «о» и т. д.).

Будучи следствиями такого рода дистинкций, в наше распоряжение попадают соответствующие индикации: слова, предложения, звуки, слоги, буквы. До сих пор мы проводили интуитивно понятные и очевидные операции дистинкций и индикаций. Однако ничто не мешает задаться вопросом о том, что случится, если мы двинемся дальше и попробуем различить между самими различениями (осуществим закон пересечения гра-

ницы формы): спросим, от чего отличается само различие, проведем различие между дистинкцией и дистинкцией «яблоко»/«груша». От чего оно отлично? Что является другой стороной этой формы? Стоит ли за этой формой какая-то реальность? Это различие более ни от чего не отлично и имеет своим коррелятом пустое пространство. И действительно: с помощью первого различения конструируется т. н. реальная реальность, реальные яблоки и груши, как следствия различий между ними. Второе различие обеспечивает возникновение идентичностей в области т. н. семантической реальности, слов «яблоко» и «груша». Однако последнее различие *реальной и семантической реальности* больше ни к чему не отсылает.

Форма и коммуникативное понимание

Вывод из такого рассуждения состоит в следующем: выхода к реальности за пределами различений не существует. Наблюдатели обречены лишь сравнивать формы. Вопрос о понимании внешнего мира (или в нашей иллюстрации – человека как такового) является бессмысленным, если не задана наблюдательная перспектива, в конечном счете – социальная институция (религия, наука, политика и т. д.), использующая свои инструменты, на выходе конструирующие идентичность «вещь» или «человек». Однако никто не препятствует сравнить самые разные «конститутивные» различения, которые, повторяясь, словно конденсируются в объекты (первый закон Спенсера-Брауна, который мы здесь специально не рассматривали).

Что дают эти понятия формы для анализа коммуникативного понимания? Мы не можем ничего знать о том, какие дистинкции осуществляет наш контрагент. Мы не можем знать, какие смысловые инореференциальные дистинкции осуществляются в его сознании. Но мы точно знаем, какие дистинкции осуществляются в области *самореференции*. *Обозначающее*, языковая, вербальная форма дана с очевидностью. При этом неизвестность того, какие *инореференциальные* дистинкции осуществляет наш партнер, что он действительно имеет в виду, когда произносит слова, как раз и не стопорит общение, а скорее является его необходимым условием, требует уточнений, провоцирует вопросы и собственно запускает коммуникацию: требует подсоединения одного коммуникативного акта к другому.

Но можно говорить и об общих условиях – пусть и недостижимого – коммуникативного понимания. Речь всегда идет о понимании связи между некоторой формой и ее другой стороной. Я *понимаю*, если понимаю, от чего произносящий *отличает* некоторую идентичность (скажем, яблоко): от *других слов* или от *других смыслов*. Тем самым, по крайней мере, обозначаются условия разрешения *принципиальной амбивалентности любого сообщения*, двоякой способности *концентрироваться вокруг самореференциальных и инореференциальных значений*.

Форма в сознании: ментальная форма

От рассмотрения коммуникативно-лингвистического понимания формы перейдем к рассмотрению ментальной формы. С проблемами ментальной формы (ментальных предикатов) мы встречаемся в философии сознания. Тео-

рия тождества⁸ проблематизирует понятие «ментального предиката» (чувственные ощущения «боли», «красного», но не только их) как некоторого аналога лингвистической формы или «означающего». С этой точки зрения ментальный предикат (как и лингвистические формы, т. е. моне-мы, морфемы звуки, слоги, буквы, слова, предложения) имеет *инореференциальный* коррелят, т. е. указывает на нечто, локализованное «вовне» (на свою другую сторону, «означаемое»). Сверх того, ментальная форма способна вступать в те или иные самореференциальные отношения с другими формами (ощущение голода порождает моторные реакции организма (поиск пищи) и, как следствие, порождает вкусовые ощущения). Но сам характер отношений между формой и ее референцией, между означающим и означаемым в сознании остается ключевой проблемой теории сознания.

В подходе, получившем название «теории идентичности», Дж. С্মарт и Ю. Плэйс предложили идентифицировать ментальные предикаты и некоторые физические свойства. Данности переживаемого в сознании мира понимались как некая неотъемлемая «другая сторона» предиката, другая сторона одной медали. Всякий ментальный предикат, утверждают С্মарт и Плэйс, выражает или воплощает некоторое физическое свойство, а всякому ментальному предикату соответствует физический предикат; вместе они, не являясь синонимами (т. е. имея разные смыслы, но общее значение, во фрегевском смысле), именно благодаря их общему значению оказываются тождественными, как могут быть тождественны две стороны одного феномена. Форма и здесь предстает как различие внутреннего и внешнего.

⁸ Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // Philosophical Review. 1959. No. 58. P. 141–156.

Это, безусловно, требовало как-то реферировать критерии тождества⁹ различающихся свойств в целом, не основываясь на проблематичной идентификации по общему объекту (значению). Так, «вечерняя звезда» идентична «утренней звезде», поскольку обе они указывают на некоторый идентичный объект – планету Венеру. Но разве «вечерняя звезда» не «обладает» своей собственной, «частной», «вечерней» пространственно-временной объектностью? Разве ей не соответствует свой собственный, некий ограниченный во времени «вечерний» объект, свое собственное локальное пространство-время, отличное от пространства–времени утренней звезды?

Итак, при анализе объекта волей-неволей приходилось учитывать свойства наблюдателя, т. е. некоторой перспективы, концепции, системы отсчета, в которую включен объект. Именно позиция наблюдателя определяла различающиеся смыслы одного и того же феномена.

Вопрос о тождественности свойств ментального и физического оказался не столь простым, как казалось. Требовалось найти универсальные критерии идентичности. Вариант решения проблемы критериев идентичности свойств был предложен в теоретико-редукционистских подходах К. Хукера и Э. Нагеля¹⁰. Так, температура газа полагалась идентичной средней кинетической энергии его молекул, поскольку классическая термодинамика может *редуцироваться* к статистической механике. Такое отождествление явлений и их теоретических описаний

⁹ Обычно отношение такого рода тождества иллюстрируют примером тождества температуры и средней кинетической энергии молекул. Один и тот же феномен действительно может рассматриваться в двух разных наблюдательных перспективах (= смыслах).

¹⁰ *Hooker C., Nagel E. An introduction to logic and scientific method. 1934.*

определяется общей каузальностью, т. е. одинаковыми следствиями – выглядящих столь различными – феноменов. Очевидно, что повышение температуры во всех случаях ведет к тем же следствиям, что и увеличение средней кинетической энергии молекул, и наоборот. Это тождество через редукцию можно было бы применить и к проблеме ментальной формы.

Такая интерпретация ментальных предикатов (с присущей каждому некоторой другой – физической – стороны) не посягала на закрытость физического мира. Ведь каждому физическому событию (например, движению руки) предшествует свое причинным образом воздействующее физическое событие (например, нейрохимический сигнал). Ведь привнесение дополнительных – ментальных – факторов в форме психических ощущений, желаний и полаганий, с одной стороны, создавало бы проблему избыточности «психических» причин (например, «желаний») для физической каузации. Это поставило бы под вопрос очевидно закрытый характер мира физических взаимодействий.

Теория тождества полагала ментальные формы всего лишь некоторыми особыми *формами проявления* физических процессов. Ментальные (или феноменальные) представления мозговых процессов (коррелятов ментальных актов) имели отличные от физических явлений – нефизические – смыслы, поскольку они являлись наблюдателю – переживающему их в сознании – не в виде физических событий, активаций неких нейронных ансамблей, а лишь в виде *красного, зеленого, чувства боли или голода*. Но им могло соответствовать физикалистски интерпретированное значение: активация нейронов, нейрохимические реакции в нейронных сетях.

Итак, всякая ментальная форма (почти как форма лингвистическая) некоторым образом представляет, т. е. обозначает, физическое событие или свойство. Но в чем же тогда состоит «нефизический» смысл или содержание ментальных форм? Здесь Смарт вынужден вводить особые (коллективно-личностное и пространственное) измерения смысла, зависящие от вида доступа наблюдателя к явлению, от того, где локализован наблюдатель – вне или внутри сознания.

Ощущения (ментальные формы. – *A.A.*) являются личными, мозговые процессы – публичны (т. е. коллективны. – *A.A.*). Если я искренне делаю высказывание “я вижу желто-оранжевый после-образ” и при этом не делаю грамматических ошибок, то я никак не могу здесь ошибиться. Но я могу ошибиться в отношении мозговых процессов. Ученый, наблюдающий мой мозг, может попасть под влияние иллюзии. Кроме того, представляется осмысленным утверждение лишь о том, что двое или большее число людей наблюдают один и тот же мозговой процесс, но никак не о том, что двое или большее число людей сообщают об одном и том же внутреннем опыте¹¹.

Итак, различие в смыслах между ментальной формой и ее физической «другой стороной», которую она обозначает, которое, как это и следовало бы из Фреге, есть различие не онтологическое, а эпистемическое. Это различие между личной априорной истинностью формы и принципиальной фальсифицируемостью социального или коллективного наблюдения физического процесса как значения этой формы. Тем самым возникают два принципиально различных доступа: эпистемический (лично-определенный) доступ к ментальной форме и онтический (коллективный) доступ к (физикалистски понимаемому) значению формы.

¹¹ *Smart J.J.C. Sensations and Brain Processes // The Philosophical Review. 1959. Vol. 68. No. 2. P. 152.*

Переход от предметной идентичности ментальной формы и ее значения к функциональному представлению ментальных форм

Серьезный удар по теории тождества ментальной формы и физического содержания («мозгового процесса»), как известно, нанесли идеи семантики возможных миров С. Крипке. Связь-тождество феноменального образа и мозгового процесса, по мнению логика, должны пониматься как контингентные (возможные по-другому). В одних обстоятельствах активация того или иного образа или ментальной формы (например, боли) сопровождалась бы одним мозговым процессом (например, активацией гипотетических «Си-волокон»), а в других – каких-то иных волокон или нейронов. Боль же является жестким десигнатором¹², т. е. всегда равна себе во всех возможных мирах. То же самое касается и «Си-волокон», во всех мирах являющихся тем, что они есть. Но каждая их связь не является необходимой. И действительно, как показывают результаты позитронно-эмиссионной томографии, одни и те же ментальные состояния сопровождаются активацией схожих и рядоположенных, но разных нейронных ансамблей и областей, не говоря уже о том, что в случае повреждения тех или иных тканей мозга их функции способны брать на себя иные участки коры головного мозга.

Попытки прояснить – гораздо более комплексные – отношения ментальных форм (ощущений, желаний, полаганий) и их «физических смыслов» возобновили представители функционализма. Ментальные формы понимались как функциональные состояния. Функциональ-

¹² Жестким десигнатором является, например, имя конкретного человека, скажем, Наполеона, всегда указывающее исключительно на эту личность.

ное состояние в свою очередь понималось как каузально-определенное событие. Оно, во-первых, должно являться следствием внешних по отношению к психике событий (боль есть следствие ожога); во-вторых, оно представляет собой причину внешних событий (боль – причина отдергивания руки от горячего места); в-третьих, способно вступать в причинно-следственные отношения с другими ментальными формами (ощущение боли – причина желания избежать боли).

Отношение ментальной формы (функционального состояния) и того, что она обозначает или так или иначе презентует, теперь выглядит более конкретно. Это отношение получило название *реализации*. Формы как функции теперь могут получать реализацию не необходимым, а действительно контингентным образом – и через мозговые процессы, и через процессы в механических автоматах etc.

При этом такие причинно-следственные функции-состояния сами не являются физической реальностью, а представляют собой некие диспозиции, условные или контрфактические предложения «если... то...», которые в сумме могли представлять как сложный алгоритм или даже «теория» возможного поведения автомата или индивида.

Но что выступает здесь *значением* ментальной формы? Под таковым, с одной стороны, действительно может пониматься множество возможностей ее *реализации* (в виде человеческого мозга или в виде компьютера), а с другой – множество возможных фактических (физически данных) поведений, действий, движений. Значением такой ментальной формы, как голод, может служить движение в сторону пищи в случае ее человеческой реализации или изменение маршрута самоуправляемого автомата в случае ее машинной реализации.

Однако в такой интерпретации оставались за скобками привычные (и интуитивные) значения форм, а именно – само переживаемое в процессе переживания. Кроме того, по меньшей мере, теоретически могли быть представлены и разработаны так называемые странные реализации форм¹³. Речь шла о том, что каждая строка в программе машины, алгоритма может выполняться отдельной группой людей, которые не понимают и не переживают некоего феноменального смысла поставляемой на входе информации, того, о чем идет речь в процессе некоторой осмысленной операции, того, как нечто чувствуется или переживается¹⁴.

¹³ Block N. Troubles with Functionalism // Perception and Cognition. Minnesota Studies in Philosophy of Science. Vol. 9. Minnesota, 1978. P. 276.

¹⁴ Для того чтобы воспроизводить программы сложных организмов, требуются в этом случае огромные количества ответственных за строчки, за каждую возможную поведенческую опцию: «если больно, следует отдернуть руку и перейти в состояние X_n+1 (один человек); если хочется спать, разложить постель и перейти в состояние X_n+2 (другой человек или устройство)». Нед Блок делает вывод, что функциональные системы механического типа (машина Тьюринга, черепашка Грэя), а также аморфные слабо связанные механические комплексы являются точными функциональными эквивалентами сознания, выполняют те же операции, являются «странными (но физическими) реализациями» функций, программ или алгоритмов, включены в каузальные связи с физическими процессами, но не имеют в своем распоряжении чего-то вроде ментальных состояний или форм. Они слишком разрознены и аморфны, чтобы в них появилось нечто вроде *образа того, о чем идет речь*, чтобы в них было какое-то единство сложного многосоставного процесса. Они регистрируют лишь связи информации на входе (и конвертируют ее в информацию, поставляемую на выход). Нед Блок называет это «китайским телом», имея в виду следующее: сознанием человека как некой дистанционной игрушкой или механической моделью, вроде самолета или автомобиля, огромным количеством

Так или иначе, приходится добавлять в качестве третьего претендента на роль значения ментальной формы (помимо указанных физических реализаций и каузальных связей) еще и само переживаемое. Имея в своем распоряжении форму «красное», мы с ее помощью можем переживать нечто красное. Само переживание красного при этом, очевидно, не является красным.

Наличие трех кандидатов на роль значения ставит вопрос об их соотношении. Каковы отношения между каузальными функциями (контрфактическими установками «если..., то...») и их фактическими реализациями: скажем, между *переживанием* красного, требующим моторной реакции (срывания красного томата), и *переживаемым* образом красного томата. Выяснилось, что в некоторых случаях переживание лишь произвольно связано со своей функциональной ролью, состоящей в каузации фактического поведения (движения руки и т. д.).

Предполагалось, что одни и те же переживания должны были вызывать одни и те же физические реакции (телесные операции во внешнем мире сознания: хватание, срывание и т. д.). Но ряд мысленных экспериментов доказал, что так бывает не всегда. Связь переживания и

диспозиций если (вижу, слышу, чувствую А, В, С, то делаю или не делаю X, Y, Z), может управлять огромное число ответственных за каждую операцию инстанций. Но это не значит, что у всего этого множества ответственных есть единый ментальный образ. Если актуализируется ментальная форма «красное» в форме красного томата, то включается механическое, причинным образом определенное действие – можно томат сорвать с грядки. Но то, как чувствуется «красное», как раз и неведомо ответственной инстанции, которая регистрирует поступление сигнала (определенной частоты видимого спектра) и запускает поведенческую реакцию в дистанционном устройстве – сознании «подведомственного» человека.

переживаемого, с одной стороны, и его типовых каузальных ролей, с другой, оказалась произвольной. Рассмотрим эту проблему подробнее.

Понимание формы и инвертированные квалиа

В описанной выше функционально-каузальной интерпретации ментальных форм никак не учитывались феноменальные свойства ощущений и переживаний, т. е. то, как нечто чувствуется и как нечто переживается. Оставалось неясным, как связан характер моего ощущения красного с каузальной ролью этого ощущения? Как ментальная форма связана со своим значением? И если такой связи явным образом не просматривается, то как же тогда мы все-таки способны понимать Другого, в сознании которого предположительно должны презентироваться образы и переживания, сходные с нашими? Ведь в случае разрыва такой связи невозможно сопоставлять его внутренние ментальные дистинкции (его внутреннее *самореференциальное различие красного и зеленого*) с внешними, *инореференциальными, деятельными* дистинкциями: срыванием красного томата и игнорированием зеленых, и значит – незрелых плодов).

Выяснилось, что в некоторых случаях ощущения лишь произвольно связаны с тем, какую каузальную роль они играют в причинении последствий, поведения. Предположим, человек страдает неким аналогом дальтонизма (с детства воспринимает цвета инвертированно – красное он ощущает как зеленое и наоборот). Ощущение красного в этом случае не может реализовываться в виде «каузальной роли», ведь за это ответственна противоположная форма.

Возникает парадокс *неидентичности тождественного*: противоположные ментальные формы (красное и не-красное) тождественны в отношении их каузальной роли или реализации. Характер ментальной формы ощущения в случае инвертированного цвета оказывается безразличным для его каузальной роли. Как же в этом смысле ощущение может определяться каузально?

Мы оставим этот парадокс нерешенным, но выведем из него следующее заключение. *Произвольность в отношениях формы и значения есть существеннейшая характеристика формы*. И столь же произвольная связь, как мы покажем ниже, характерна и для понимания формы в научных теориях, и для понимания формы в языке и коммуникации.

Но помимо констатации произвольности в связи значений формы хотелось бы получить более конкретные характеристики. Можно указать на постоянные осцилляции между двумя значениями формы. Так, каждая форма представляет собой *два* одновременно осуществляющихся различения. Во-первых, ментальная форма «красное» представляет собой дистинкцию со своей «референцией» (ее каузальным следствием), физическими операциями тела, которые она «каузирует». В этом смысле ментальная форма имеет свой инореференциальный коррелят.

Во-вторых, ментальная форма «красное» «встроена» в самореференциальную дистинкцию *красное/не-красное* и в нашем примере представляет собой различение красное/зеленое. В природе имеет функциональный смысл не просто фиксировать нечто как красное, но отличать его от зеленого, поскольку именно овладение таковой формой, предположительно, обеспечивало выживание, например различение спелых и неспелых плодов.

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что, несмотря на известную произвольность отношения *форма/значение*, существуют некоторые жесткие различия в реальности (внешнем мире восприятия, например спелое/неспелое), которые как бы *навязывают* корреляции на уровне формы (на уровне самореференциальных дистинкций типа различения красное/зеленое).

Это показывает, что *красное* еще не является целостной ментальной формой в собственном смысле слова. И оно поэтому не может представлять (реферировать к..., указывать на...) функцию или каузальную роль. Лишь различение между красным и не красным (зеленым) является формой в собственном смысле слова, представляет и способно «инициировать» физические каузальные процессы – различения в действиях человека: срывать спелый плод/оставлять зеленый.

Подведем некоторые итоги. Ментальная форма в нашем понимании может быть представлена как различение между *самореференциальными* и *инореференциальными* значениями формы (в нашем случае: различение в переживаниях между *красным/не-красным* и соответствующее различение в действиях: *сорвать спелый плод/оставить неспелый*). Такая интерпретация ментальной формы позволяет уточнить условия, обеспечивающие взаимное понимание. Понять Другого в этом смысле – значит сравнить самореференциальные дистинкции (красное/зеленое) с их реализациями в виде инореференциальных дистинкций (сорвать или не сорвать красный плод).

Здесь же мы можем сделать важный вывод в отношении различий коммуникативной (языковой) и ментальной форм и соответствующих типов понимания. Понимание ментальных форм основывается *не на самореференции* (как это имело место в понимании средствами языковой

формы), а на *инореференции*. Мы базируем наше понимание Другого, когда констатируем *физические реализации* (= значения) ментальных форм: действия, движения тел; но не в тех случаях, когда реконструируем скрытые в сознании *самореференциальные* значения формы (типа дистинкции красное/не-красное).

Фундаментальным условием понимания в *вербальной коммуникации* являются самореференциальные дистинкции языковых форм, т. е. различения между словами. Эти дистинкции даны с несомненностью и очевидностью. Цель или мотив вербальной коммуникации состоит в том, чтобы зафиксировать соответствие или различие между очевидной самореференцией (звучащей или записанной речью) и гипотетической инореференцией (приписыванием скрытого в сознании Другого смысла этой речи).

Фундаментальным условием понимания *психических процессов* в сознании Другого, напротив, являются инореференциальные дистинкции (различия в действиях, в *реализациях* ментальных форм), поскольку все самореференциальные значения формы принципиально скрыты в сознании Другого. Но именно это является мотивом понимания Другого.

КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕДИА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗНАНИЯ: ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ¹⁵

Выше мы рассмотрели понятия медиа и формы, которые мы назвали методологическими основаниями коммуникативной теории (и даже более общей – теории наблюдения), в том смысле, что их «диалектика» или «логика» служит ориентиром при описании всех без исключения форм коммуникации. Но возникает вопрос, как «исторически» развивались медиа коммуникации и накладываемые на них ограничения (формы).

В этой части исследования мы реконструируем одну из важнейших социально-технологических коммуникативных трансформаций – переход от техник распространения коммуникативного смысла (шум, свет, звук, язык, письменность и печать) к социальным технологиям достижения коммуникативного успеха (коммуникативным медиа истины, власти, денег и т. д.); попробуем показать, что условиями появления последних собственно и являются техники письменности и книгопечатания как особая социальная

¹⁵ Глава написана при поддержке фонда РГНФ, проект № 14-03-00811.

технология. В самом общем смысле социальная технология может концептуализироваться как *программа* осуществления социально-релевантных задач (т. е. логистика) путем специфической оптимизации коммуникации по времени и пространству: как ресурс экономии времени на осмысление и рефлексии коммуникативного успеха. Технология – это способ обеспечить *разгрузку* в переработке очень сложного внешнего мира, фактически предстающей в формах *игнорирования* внешнего мира: так, автомобиль дает возможность игнорировать структуру пространства, делает дальнее ближним и позволяет существенно оптимизировать действия и коммуникации по времени.

В этом смысле социальные технологии по сути своей не отличаются от техники как таковой, за исключением того несущественного момента, что для функционирования техники в узком смысле (машин, механизмов) требуется некоторый внешний источник энергии, а также того, что эта механическая техника функционирует и без непосредственного обращения к человеческому сознанию и человеческой телесности.

В этом смысле, например, книга как феномен социальных техник книгопечатания дает возможность игнорировать структуру времени, прошлые концепты оказываются доступными в настоящем; письменность в целом делает возможным игнорировать препятствия, накладываемые особенностями физиологической памяти и т. д. и т. п. Техника может быть понята как способ переработки (принципиально непреодолимой) сложности внешнего мира, как средство его редукции или игнорирования, за счет чего высвобождаются избыточные коммуникативные ресурсы, направляемые на не связанный с техникой узкоспецифический предмет. Техника книгопечатания, очевидно, не связана с излагаемыми в книгах предметами.

Коммуникативную технологию можно охарактеризовать как технологию *распространения коммуникативно-релевантных смыслов*, или просто как медиа распространения коммуникации¹⁶. Ключевую роль при этом следует отвести техникам *письменности* и *книгопечатанию*, которые позволили на время решить социально-интегративные проблемы, вытекающие из (дез)организующих возможностей языка (прежде всего – из возможностей языкового отрицания и, как следствие, – возможности отклонения принципиально любого запроса на контакт). Однако и сами эти техники или медиа генерировали существенные дезинтеграционные тенденции.

Однако о коммуникативных технологиях можно говорить и в узкосоциальном смысле: речь может идти о *ролевых стандартах* и *стандартизированных мотивах* специализированной (политической, экономической, научной, религиозной, интимной и т. д.) коммуникации. Техникой здесь выступают *медиа коммуникативного успеха*: деньги, истина, репутация, авторитет, собственность, прекрасное, вера, любовь – т. е. множество ролевых ориентиров и взаимных ролевых ожиданий, обеспечивающих соответствующие мотивации. Эти техники делают коммуникацию неслучайной, ориентируя ее посредством указанных мотиваций, возникающих словно автоматически в ответ на предложение того или иного спускового механизма (предложения денег запускают механику продаж и покупок, предложение истинного предложения – механизмы проверки).

Благодаря этим медиа минимизируются *общеобщественные* или *глобальные* конфликты, поскольку обособляются специфические типы (системы) общения и

¹⁶ Базовая теория распространения коммуникативного смысла, на которую я опираюсь в этой статье, представлена в кн.: *Луман Н. Медиа коммуникации*. М., 2005.

социальные роли участников такого автономного общения (ученых, политиков, бизнесменов, художников и т. д.) не предполагают ни взаимной комплементарности, ни иных – конфликтных или интегративных – пересечений. При этом внутренние конфликты (научная полемика, экономическая конкуренция, соперничество в любви и т. д.) получают позитивную функцию в качестве динамических факторов, не препятствующих, а ускоряющих системообразование в каждой коммуникативной системе.

Интеграция, результирующая из возникновения всякого нового медиа коммуникации, одновременно ставилась под вопрос достижениями техник предыдущего уровня. Так, устный язык, основанный на акустических медиа с их временным (дигитальным) способом перерабатывать информацию, безусловно, создают новые возможности социального контроля, связанные с возможностью контролировать *будущее* состояния. Это выгодно отличало новый медиум от возможностей визуального (аналогового) взаимовосприятия, обеспечивающего согласие исключительно здесь и сейчас (настоящее). Однако приносимые языком возможности отрицания любого смысла и предложения контакта (присутствие частички «не») создавали новые риски конфликтов и разрушения сообщества, компенсирующиеся достижениями новых медиа (в данном случае – письменной речи). Эта «диалектика» перехода согласия в конфликт и нового согласия ресурсами нового коммуникативного медиума стандартно воспроизводится вплоть до нашего времени.

Язык как медиум социальной (дез)организации

Язык мы понимаем как технологию, призванную высвободить (автоматизировать) коммуникативные процессы, вывести их из-под ограничений, накладываемых процессами *взаимовосприятия*, ситуативно-определенного, а значит, чрезвычайно обременительного (по времени) обращения с вещами и людьми. Социализация (а в современности – и отношения полов, и фиксации интимных предпочтений), безусловно, возможны и на уровне простого восприятия: так, угрожающий жест вызывает ответный угрожающий жест и, как следствие, возникновение антиципаций, основанных на восприятии восприятия себя: «угроза вызывает ответную угрозу», поэтому лучше не осуществлять такой угрозы¹⁷.

Но *сигналы, посылаемые восприятию* (в нашем примере – угрозы), не имеют *референций*, указаний на нечто иное. Восприятие (чужого и, как следствие, своего) восприятия остается замкнутым в рамках специфической ситуации и не имеет средств для обобщения таковых ситуаций через референцию к некоторому обобщающему смыслу. Восприятие (своего и чужого) восприятия не действует знаки как своего рода переменные, «пробегающие» множество сходных, но различающихся ситуаций.

¹⁷ О технологиях социализации и иерархизации через взаимовосприятие и восприятие (вещей) см.: *George H. Mead, Mind, Self & Society From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago, 1934; *Rosen R. Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological Formulations*. Oxford, 1985; *Thierry B. Emergence of Social Organizations in Non-Human Primates // Revue internationale de systemique*. 1994. No. 8. P. 65–77; *Емелин В.А. Самоидентификация как познание // Эпистемология и философия науки*. 2011. № 1. С. 175–176.

Повторение (а значит, квази-техническая автоматизация) однажды случившихся успешных реакций на этом уровне не обеспечивается.

В противовес взаимовосприятию посредством сигналов оперирующий знаками язык обеспечивает важнейшую функцию *повторной распознаваемости* знаков или слов, адаптацию к меняющимся ситуациям (и, как следствие, свободу от них, игнорирование их конкретного своеобразия).

От пространственной интеграции к временному порядку

Именно с этим связана техническая функция знака, которую мы обозначили как игнорирование внешнемировых структур¹⁸. Знак (дистинкция выражения и смысла, означающего и означаемого) выступает многократно воспроизводимой структурой или операцией, дефинитивно не нуждающейся в контакте с внешним миром. Эта структура только потому и может воспроизводиться повторно, поскольку она не зависит от раздражений восприятия реальных внешнего мира. О вещи думают и говорят в отсутствие вещи. Знаки репрезентируют смыслы, а вовсе не конкретные материальные предметы или факты. Фактическое наполнение ситуаций свободно варьируется, в то время как связь знака и его смысла, означаемого и означающего в смысле Соссюра, вопреки их полной противоположности остается фиксированной. Стабилизация этой

¹⁸ О знаках как технологии игнорирования (произвольного поведения) в отношении (восприятия) внешнего мира и критику этого подхода см.: *Jacobson R. Semiotik: Ausgewahlte Texte*. Frankfurt, 1988. S. 427–436.

структуры делает возможным некоторую систему – через *игнорирование* текучего характера ситуаций, к которым и в которых это отношение реализуется. Именно через процесс такого игнорирования тотальности окружающего пространства возникает мир, к которому можно обращаться *и во времени*: т. е. *после* значительных перерывов, и *перед* тем, как этот мир получил фактическую реализацию, т. е. – самое удивительное – в его отсутствие в окружающем пространстве.

Благодаря тому, что означающее указывает на означаемое, язык получает свободу от конкретных и ситуативных восприятий, которые – ввиду особенности восприятия – всегда остаются полностью определенными: визуальная картина такова, какова она есть и дана *одно-временно* во всей своей полноте; ощущение красного может быть только красным. Восприятие указывает на себя и исключительно в момент восприятия, причем не может быть ошибочным, но неизменно равно самому себе. Напротив, языковые выражения выходят за пределы моментальной и актуальной ситуации восприятия и указывают на свои смыслы и другие выражения безотносительно к тому, что происходит и ощущается в данный момент. Система языковой коммуникации способна замыкаться благодаря оптимизации времени (игнорирования текущего момента) и, как следствие, сосредотачивается и реагирует не на все вокруг, а на ограниченных предметах интереса, преимущественно же на том, о чем *уже* в той или иной форме говорилось ранее, и на том, что *еще* только будет обсуждаться.

Собственно организация общества (= коммуникации, общения) возможно только благодаря этой функции языка – автономизации языковых выражений, более не привязанных к реально и фактически переживаемому и

воспринимаемому событию, некоторому «срезу одновременности», в котором обозревалось некоторое пространственно-интегрированное сообщество и который являлся некоторым «доязыковым» средством социального контроля. (Скажем, кошка с собакой неконфликтно сосуществуют благодаря факту *изначального взаимного восприятия пространственного со-существования*, каковое собственно и выступает мощнейшим средством интерактивного взаимоконтроля.)

Вышеуказанные технические функции знака и языка высвободили временные ресурсы для обращения к проблемам самого общения, причем как раз за счет обеднения конкретности восприятия. Но эти же функции редукции сложности внешнего мира, прежде всего многообразия irritаций, привнесли с собой и фундаментальную проблему, выраженную в аккумуляции новой сложности. Ведь всякое высказывание способно соотносить себя с практически *несчетным множеством* других потенциальных выражений и в этом смысле является избыточным, невероятным и чрезвычайно опасным для социального порядка и контроля. Как и всякая техника, язык должен был решить проблемы контроля собственной сложности и самопорожденного риска.

В отличие от преимущественно пространственной интеграции средствами *визуального* восприятия, язык задействует *акустические* ресурсы, предполагающие временную организацию коммуникативных вкладов: люди видят всех и сразу, а говорить и слушать приходится по очереди. Именно последовательный порядок высказываний делает возможным большую свободу, нефиксированность того, что будет сказано дальше. Создается некоторый вторичный мир проговоренного, определяемый временем и допускающий ошибки, который словно на-

кладывается на не допускающий ошибок пространственный мир визуально воспринятого и проблематизирующий этим всякий консенсус.

Дезорганизационная дисфункция языка и новые техники ее преодоления

Однако способность языка связывать знаки с ситуациями (и освобождать себя от их конкретности) возможно только через свободно составляемые предложения. Лишь такая свобода связывать знаки собственно и является условием свободного поведения и реакций на мимолетные данности среды. Но именно предложение и допускает собственное отрицание (ведь отрицание элементарного знака лишь добавляет новый смысл) и, как следствие, отклонение некоторого коммуникативно-предложенного смысла.

Техническая функция языка, состоящая в обобщении и игнорировании конкретности внешнего мира восприятия, дополнялась тем самым новой технической функцией, а именно функцией разгрузки. Знаковая функция слов языка, понимаемых в качестве «естественных переменных», освобождает нас от контекста генерации знания. Нет никакой необходимости вспоминать о том, как появилось слово, кто его придумал и в каких еще контекстах оно употреблялось ранее. Благодаря этой функции коммуникация только и может концентрироваться на какой-то конкретной коннотации или значении слова, концентрироваться на данном моменте, абстрагируясь от его обремененности прошлым, которое как-то приходится держать в уме.

Эта функция представляет собой общее условие социальной памяти, поскольку запоминание чего-либо и его коммуникативная тематизация возможны лишь через

такое забвение всех иных контекстуальных определений. Но эта – лишь обеспечиваемая – функция памяти (= забвения) не позволяла возвращаться к тому, что в данной коммуникации было забыто, а следовательно, делала коммуникацию чрезвычайно нестабильной. Не было возможности «отложить» некоторую тему на потом, «забыть на время», чтобы впоследствии, когда возникнет необходимость или возможность, к этому вернуться. Коммуникация руководствовалась исключительно современностью, гарантируемой незначительными, психически определяемыми памятью небольшого коллектива¹⁹, и не могла осовременивать прошлое, задействовать некоторые гарантии ее стабильного протекания – тексты, законы, записанные правила поведения, письменные мироописания.

Для устойчивого течения коммуникации (неслучайных подсоединений одних коммуникаций к другим) требовалась техника стабилизации коммуникации²⁰, письменно фиксируемые ориентиры общения, компенсирующие данную в языке возможность сказать «нет» любому предложенному смыслу.

Чтобы придать языку и коммуникации стабильность, требовались средства представления языка – как чего-то целостного – в каком-то новом медиуме, а в конечном счете в самом языке. Требовались средства выражения языка как некоторой целостности, некоторого внутренне связанного и устойчиво воспроизводящегося множества

¹⁹ О технологиях коллективной памяти и ее ограниченности ресурсами психики в культурах устного общения см.: *Thomas R. Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*. Cambridge (Engl.), 1989.

²⁰ Об общих принципах так называемого собственного поведения – техниках автономизации поведения, соотносящегося исключительно с предшествующим и ориентированным на будущее поведение, см.: *Foerster H. v. Objects: Token for (Eigen)Behaviours // Observing Systems*. Seaside Cal. 1981. P. 274–285.

элементов, а не его моментально актуализировавшихся и сразу исчезающих форм (предложений). Чтобы язык стабилизировался (с помощью фиксированных правил соединения слов, представляемых некоторым обозримым списком – словарем и сводом грамматических правил), требовалось отличить слова от вещей, а не привязывать (и тем более не уподоблять) слова к вещам. Собственно только так можно было считать реальность реальностью – отличной от реальности слов. Устный язык не обеспечивал такого различения вещей и слов. Поэтому реальность вещей не могла концептуализироваться как гарантированно стабильно существующая и независимая от языка, а с другой – и сам язык не мог пониматься как реальность семиотическая – как реальность, стабилизированная воспроизводством повторяющихся и фиксированных связок *означающее/означаемое*.

Предложение как техника коннекции и медиум социального порядка

Возможность концентрироваться на ситуациях посредством предложений (что как бы «снимало» данную в словах способность игнорировать внешний мир) создавала и иную возможность сцеплять предложения с предложениями, осетевлять общение. Ведь способностью подсоединяться друг к другу *во времени* обладают исключительно предложения, связанные же в предложения отдельные слова могут пониматься как одновременные друг другу, как актуализирующиеся в рамках единого события предложения. Связанные предложения могут актуализироваться в разные времена. Их можно предвосхищать, их можно вспоминать как однажды прозвучавшие.

Осуществить подобное с лишь однажды прозвучавшим и неинтегрированным словом не так просто, ведь слова по сути своей переменные и, следовательно, не привязаны к контексту и не могут предвосхищаться и вспоминаться в качестве некоторого конкретно предложенного для обсуждения смысла. Именно такая способность предложений к подсоединению в следующее мгновение, определяющее возможность их отклонения, опровержение и подтверждение, несла с собой фундаментальную проблему для социального порядка.

Итак, техника предложения, безусловно, делала возможным гарантировать тот или иной смысл путем указания на подтверждающую предложение ситуацию – «идет дождь», поскольку действительно идет дождь (при том, что невозможно указать на ситуацию, которая бы подтвердила или опровергла слово). В этом смысле предложение делало возможным описание социальной жизни, становилось техникой, обеспечивающей интеграцию коллектива – путем создания устойчивых связей предложений: мифологических историй, ритуалов и всего того, что можно назвать нарративной технологией.

В данном случае «диалектика» медиа (слов) и формы (предложений) выражалась следующими свойствами. Слова, в свою очередь, являясь формой в отношении медиума звуков²¹, представляют собой медиа в отношении формы предложения и выказывают медиальные свойства генерализации и спецификации. Каждому слову могут быть сопоставлены разные референты (генерализация), а каждый референт может быть обозначен различными словами. Это обеспечивает произвольность связи знак/

²¹ Очевидно, что акустические *медиа* звуков, в свою очередь, представляют *форму* в отношении медиа шумов. Мы различаем звук в некоем шумовом поле.

референт (Ф. Соссюр). Эти медиальные свойства делают возможным лишь слабое сцепление медиального субстрата, его высокую комбинаторику в наложении жестких сцеплений (форм) в виде предложения, формовые свойства которого состоят в следующем:

1. Предложение может связывать язык с ситуацией.
2. Предложение может выводить за пределы настоящего.
3. Предложение может ошибаться и подтверждаться.
4. Предложение может быть отклонено (как в силу понимания его смысла, так и в силу непонимания).
5. Предложение может подсоединяться к другому (рекурсивность).
6. Предложение может образовывать длинные цепочки (системы).

Вербальная бинаризация – радикальный выход коммуникации за пределы современности и за пределы самого языка

Уже слово как базовая лексическая единица делает возможным выход за пределы конкретности восприятия внешнего мира. Уже слово делает возможным наблюдение, предполагающее не только *обозначение* (воспринимаемого), но и *различение* (уже более не сводимое к реалиям восприятия).

Однако радикальное игнорирование внешнемировых реалий делает возможным лишь предложение. Никлас Луман называет соответствующую технику *бинарным кодированием языка*, имея в виду (создаваемые отрицанием того или иного предложения) позитивные и негативные редакции всего того, что можно произнести.

Если слово создает возможности референции, т. е. наблюдения, понимаемого как одновременно осуществляемое обозначение и (через) различение, то теперь при помощи предложения и его отрицания эти обозначения и различения можно принимать и отрицать, что в два раза умножает исходные идентичности и соответственно сложность внешнего мира. Это достижение окончательно выводит коммуникацию за пределы ограничений, накладываемых данными восприятия – всего того, на что можно остенсивно указать. Уже здесь возникают возможности ошибки и, как следствие, проверки – базовых условий квалификации знания как истинного (и ложного).

Техника отрицания, несомненно, привносила значимые риски в коммуникативный процесс, в примитивных обществах основанный на всеобщем согласии, для которого всякое отклонение и разочарование в устойчивых смыслах, все новое и неожиданное оказывалось разрушительным. Поэтому привносимые предложением возможности отрицания должны были задействовать некоторые компенсирующие такого рода риск механизмы «нормализации отрицания». Возможности внедрения процедур отклонения обеспечивались тем, что отрицанию подвергалось именно *новое*, а не базовые основания коммуникации (родовая структура, мифы и т. д.). И при всем этом все новое и необычное благодаря отрицанию как раз и получало статус сохраненного и нормализованного.

Функция бинаризации предложения состоит в привнесении в коммуникации динамических свойств, временных характеристик – ведь то, что отрицается, с одной стороны, может быть запомнено (идентифицироваться как нечто прошлое). С другой стороны, по поводу отрицания приходится – после некоторых колебаний – выносить решение. Так в коммуникации возникает дивергенция за-

бытого/запомненного (или прошлого) и того, по отношению к чему следует принять решение (будущее). Таковое различие собственно и называется временем.

Итак, коммуникация, приобретающая динамику благодаря свойствам предложения, теряет стабильность и становится рискованной. Именно эти опасности должны были преодолеваться новыми технологиями, а именно – стабилизационными свойствами письменной речи.

Письменность: мнемотехника или медиа коммуникации?

В общении устно коммуницирующих сообществ ключевая роль принадлежала факту самого сообщения (означающему). Смысл сообщения заключался в поддержании общения, а новое, неизвестное и неожиданное (информативная составляющая сообщения) минимизировалось²².

Эта технология табуирования конкретного содержания доказала как свою успешность²³, так и эволюционную ограниченность, ведь она не позволяла рождаться длинным цепочкам высказываний, ориентированных

²² Это обстоятельство, собственно, и имелось в виду Р. Мертоном в его концепции латентных и явных функций: *Merton R.K. Manifest and Latent Functions // Social Theory and Social Structure. Free Press, 1957*. Само общение оказывается важнее содержательной стороны общения, ведь оно способно нести интеграционную функцию и как раз в силу того, что факт сообщения не может быть оспорен и, как минимум в этом, уже подразумевает согласие. Напротив, смысл или информация, вкладываемые в сообщения, скорее разъединяют, поскольку оказываются недоступными для проверки, замкнутыми в границах индивидуальных сознаний.

²³ Примеры и описание процессов табуирования информационного обмена в родовых обществах см.: *Антоновский А.Ю. Человек познающий. Знание/незнание как универсальная дистинкция и ось*

предметно, а не социально. Эта ограниченность обсуждения и общения конкретным временем устной беседы препятствовала появлению собственной динамики общения, времени обсуждения, определяемого его *предметом* с собственным прошлым и будущим, которые бы и определяли возможностями сравнения его прошлых и будущих состояний.

Требовался механизм разведения социально обусловленного времени обсуждения (фактически представавшим, пусть и латентным, самообсуждением некоторого сообщества) и предметно обусловленного времени, необходимого для более или менее обстоятельного обсуждения (впоследствии описания) данного предмета. Предмет должен был допускать независимые высказывания о нем, которые могли бы сравниваться некоторым наблюдателем в отношении их адекватности данному предмету и согласованности или противоположности друг с другом. Требовался медиум (технология) наблюдения над мнениями наблюдателей, в качестве каковой и выступила письменная фиксация сообщений.

В разное время на осуществление этих функций вывода обсуждения за пределы устной беседы фактически присутствующих лиц претендовали разные медиа (мифы и ритуалы, магические практики и практики предсказания и гадания, ритуалы посещения сакральных мест, религия и мораль). Однако все они, ориентируясь на тайну²⁴ и запрещая тематизацию своего фундамента (оснований

социальной дифференциации // Филос. науки. 2014. № 11. С. 144–149. Так же: Barth F. Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea. Oslo, 1975.

²⁴ О социальных технологиях тайны как основания коммуникации традиционного общества см.: Антоновский А.Ю. От интеграции к информации. К коммуникативным трансформациям в российской нации // Мониторинг общественного мнения: экономические и со-

мистерий, природы божества, оснований морали и т. д.), не могли обеспечить требующуюся передачу ключевой роли в коммуникации от полюса – интегрирующего сообщества – *сообщения* к полюсу – допускающего полемику и конфликт – *информации* и наблюдения второго порядка. Такой *технологией де-социализации общения* стала письменность. Подобно медиуму языка²⁵ и являясь формой этого медиума, письменность, в свою очередь, выступает технологией решений двух не согласующихся друг с другом функций: мнемотехнических записей и писем друг другу. Рожденная для регистрации²⁶ хозяйственных и (внешне) политических событий и процессов²⁷, письменность превратилась в самостоятельный медиум коммуникации – технологию распространения коммуникации, радикально трансформировавшую весь коммуникативный процесс²⁸.

циальные перемены. 2012. № 3. С. 4–12; Muller K.E. Das magische Universum der Identitaet: Elementarformen sozialen Verhaltens: ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt, 1987.

²⁵ Поскольку и язык, в свою очередь, словно распадается на две взаимоисключающие функции – с одной стороны, предполагает заложенную в *слове* интегративную функцию обобщения, автономизации человеческого общения через отвлечение от всего внешнего и конкретно-предметно определенного, а с другой, подразумевает (заложенную в структуре предложения) дезинтегрирующую бинаризацию (да/нет-кодирование) любого предложенного для обсуждения смысла.

²⁶ О регистрационной функции см.: Schmandt-Besserat D. An Archaic Recording System and the Origin of Writing // Syro-Mesopotamian Studies. № 1–2. 1977. P. 1–32.

²⁷ О генезисе технологии письменности из практики предсказаний, процессе отделения идеограмм от знаков гаданий (нагретых костей, панцирей черепах и т. д.) и последующей фонетизации см.: Vernant J.-P. Divination et rationalite. Paris, 1974.

²⁸ Haarmann H. Universalgeschichte der Schrift. Frankfurt, 1990.

Устное общение: специфика и условия

Устная коммуникация ориентирована на *конкретный пространственно-временной и личностный контекст*, на те ожидания, которые связываются с присутствующими известными лицами и известного пространства. Высказывание «завтра я собираюсь на охоту в лес, ты со мной?» не будет отклонено лишь в том случае, если известен не представленный в самом предложении контекст: известна личность и качества охотника, время охоты и наличие самих охотничьих угодий, и именно этот контекст определяет понимание и мотивирует акцептацию предложенного смысла. Именно этот контекст (известность того, *кто* предлагает, того, *когда* наступит «завтра», «где» и «с кем» осуществляется деятельность») конкретного пространства, времени и свойств личности определяет коннекции устных сообщений²⁹.

Этот способ выстраивания коммуникативных систем очевидно контрастирует с письменным: ведь письменности самой надлежит определять свой контекст. Теперь индивиды свободны от того, чтобы своим личным присутствием и особенностями своей личности определять понимание предложенного для коммуникации смысла и возможность к обращаться к этому смыслу в различающихся ситуациях. Производство собственного контекста является первым условием появления автономных коммуникаций, выходящих за пределы конкретного пространства и времени, ориентированных на некоторое прошлое и будущее, на автономную динамику информативного обсуждения предмета³⁰.

²⁹ О пространственно-временных детерминациях устного общения родовых обществ см.: *Muller W. Raum und Zeit in Sprachen und Kalendern Nordamerikas und Alteuropas // Anthropos. 1963. No. 57. S. 568–590.*

³⁰ Окончательно эта автономия общения от конкретного контекста устанавливается вместе такой формой письменности, как книгопечатание. Так, письменные законы выводят коммуникацию из-под

Технологии сакрализации как решение проблемы коннекции устных коммуникаций

Помимо различения *близкое/далекое (знакомое/незнакомое)*, количественно определяющего важность общения с отдаленными индивидами и служащего условием коннекции коммуникаций, устно коммуницирующие сообщества проводят и качественно определенную границу своих коммуникативных систем. Этому служат прежде всего ранние формы религии и соответствующие им табу. Для того чтобы очертить рамки системы коммуникаций, общество словно отправляет шаманов в «запредельные» миры. Именно состояние транса должно продемонстрировать специфику «запредельного» характера коммуникации, недвусмысленно указывающей на то, что «за пределами» – страшно и ужасно и, следовательно, общение в «обжитой середине» следует признавать в качестве приятного и надежного. То, что чувствует шаман во время транса, невозможно передать обычной речью и об этом следует молчать. Эта функция тайны и коммуникативного запрета на большую часть возможных содержаний коммуникаций, как показывают этнографические исследования, выступала условием локально определяемой солидарности³¹.

Незначительных ресурсов устного языка достаточно лишь для сакрализации, т. е. остановки вопрошания о запредельном. Лишь письменный язык делает возможным

конкретики контекста и особенностей личности, вести себя и коммуницировать следует правомерно. Печатные деньги обеспечивают платежи независимо от характера плательщиков, времени года и места платежа.

³¹ О сакрализации как техниках коммуникативного системобразования см.: *Glinga W.* Muendlichkeit in Afrika und Schriftlichkeit in Europa: Zur Theorie eines gesellschaftlichen Organisationsmodus // *Zeitschrift fur Soziologie.* 1989. No. 19. S. 89–99.

само *различение* того, что *есть*, и того, что *за этим кроется*, поскольку лишь письменная фиксация делает возможным наглядное представление самого языка в языке, а следовательно – делает возможным осуществлять такое базовое различие как различие слов и вещей, а впоследствии и благодаря этому – и так называемых сущностей и явлений. Но такая возможность выражения языка в языке посредством письма поставила фундаментальную проблему взаимоперевода устной и письменной речи.

Проблема взаимоперевода устной и письменной речи

Письменность обогащает мир новыми реалиями, аспектами и качествами, которые, однажды появившись в устной речи, теперь уже не исчезают вместе с их изобретателем. Возникает совершенно иной мир записанных обозначений, дефинитивно более богатый в соотношении с тем, какие возможности обозначения может позволить индивидуальная память. Как же обеспечить взаимоперевод³² количественно и качественно несоизмеримых множеств смыслов и их обозначений?

Несмотря на содержательное обогащение письменной речи, в письменности утрачиваются существенные черты оральной коммуникации. В письменность не входит означенная выше специфичность живого общения, нацеленного прежде всего на *сообщение* и индуцируемую им общность, на то, что связывает попеременно слушающих и говорящих. Этот *общностно-интегративный* (не-информационный) смысл устной коммуникации оказывается безвозвратно утерян и не воспроизводится в письменной

³² *Tedlock D.* The Spoken Word and the Work of Interpretation. Philadelphia, 1983.

речи. Утерянным в письме оказывается и фундаментальная временная характеристика устной речи – *одновременность* говорения и слушания, что приводит к началу распада единства коммуникации как одновременно данного единства сообщения, информации и понимания. Особый временной порядок устной речи теряет свою интегративную функцию³³, на смену ему приходят совершенно новые формы общения и интеграции, а именно – особые операции наблюдения «письмо» и «чтение», парадоксальным образом *выведенные за рамки общения*.

Возможности перевода с устного на письменный ограничены существенными трудностями установления эквивалентности оптических и акустических технологий презентации смысла. Дело на первый взгляд предстает так, как будто звуковые единицы, фонемы воспроизводятся в виде единиц оптических, букв. Однако очевидно, что в устном языке до появления фонетического письма просто не существовало элементарных фонем, поскольку непонятно, какие средства фиксации (до появления фонетического алфавита) были способны их презентировать как единства и какую функцию они играли бы в общении. Возможно, они существовали в виде нерелексивных кваркообразных структур, не существующих обособленно. Впрочем, и фонетическое письмо не решает проблему экспликации «чистых» или «элементарных» звуков³⁴.

³³ «Ускорения и замедления, акустически нагруженные промежутки и паузы, периоды ожидания и моменты, в которых напряжение нарастает или вновь разряжается... это *общее переживание* структурированного развертывания и опосредует говорящим и слушающим то впечатление, что они переживают одно и то же» (Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005).

³⁴ Фактически оптические единицы лишь весьма произвольно связаны с акустическими. Фонетическое письмо фиксирует своими элементами различия в звуках, но не некие «чистые», «обособлен-

Уже на этом элементарном уровне отношение акустических и оптических медиа распространения не является однозначной взаимопрезентацией. Письменное обозначение фиксирует не просто звук и не просто смысл, а их различность и одновременно – единство. Сам денотат письменного выражения становится немыслимой в рамках устного общения проблемой, требующей определить-ся с тем, обозначается ли нечто как означающее (звук, сообщение) или же как означаемое (смысл, информация). В этом смысле только в письменной речи возникает проблематизация *понимания*, т. е. вопрос о том, адекватны ли друг другу само выражение (сообщение) и его смысл (информация).

Итак, лишь благодаря письменности смысл получает независимость от слова, а слова теперь жестко отличаются от вещей, ведь смысл отныне не привязан жестко ни к тому, ни к другому, а может менять техники своего представления – словно осциллировать от акустических к оптическим презентациям. Письменность маркирует и реифицирует (в виде написанного, а значит – предметного) различие смысла и слова, но вместе с этим утрачивается возможность непосредственного воздействия слова на вещи³⁵, возникает дистанция между миром и его вербальным представлением, но главное – теперь уже сам язык допускает свою интерпретацию в виде реифицированных данностей. Теперь благодаря двум новым опера-

ные», «элементарные» звуки. Если вводится весьма искусственная буква «Ш» (не есть ли она сочетание «Ш» и «Ч», а само «Ч» не есть ли сочетание «Т» и «Ш»?), то ее оптическое представление есть наново сконструированная сумма различий (*согласные/гласные, шипящие/не шипящие, мягкие/твердые*).

³⁵ «Лишь за *Божьим Словом* сохраняется способность непосредственно изменять вещи: и сказал Бог – да будет свет, и стал свет» (Луман Н. Медиа коммуникации).

циям общения (письма и чтения) слова и смыслы словно без вмешательства человека (выполняющего лишь роль посредника) практически непосредственно воздействуют и определяют друг друга.

Благодаря указанным достижениям возникают радикально иные технологии, которые уже с полным правом можно называть социальными. Собственно все современное общество, в его отличии от традиционного, дописменного общества оральных культур, определяется этой технологией и собственно представляет разного рода ее модификации (печать, электронные медиа). Эта технология может быть обозначена как телекоммуникация, транспортировка знаков вместо вещей.

Письменность как телекоммуникация

Письмо выводит общение за пределы конкретного пространства-времени и особенностей (и давления) социального окружения. Выводимая из письменного общения информация теряет связь с локальными ситуативными детерминантами. Становится возможной презентация в коммуникации того, что отсутствует в данном пространстве и времени, презентация чуждых образцов поведения, толерантное отношение к Другому и операционализация ресурсов, которые привносит Другой³⁶.

Коммуникативная операция нового типа «чтение» придает семантике «участия» совсем иной смысл. Теперь «участие» – это не личная деятельная ангажированность,

³⁶ Эта фигура, прежде всего в образе торговца и третейского судьи, обязана своим появлением письменным формам: деньгам и записанным законам. См.: *Simmel G. Exkurs ueber den Fremden // Simmel G. Soziologie. Untersuchungen ueber die Formen der Vergesellschaftung. B., 1908. S. 509–512.*

а «участие» к судьбе и в судьбе литературного героя, и это участие возможно лишь до тех пор, пока герой предлагает новые и неожиданные формы поведения и речи. В противном случае читатель теряет к нему всякий интерес. Появление сложных письменных текстов должно предложить достаточную мотивацию для преодоления естественных (и даже чрезмерных) трудностей его прочтения. Представляется в высшей степени невероятным, чтобы человек затратил столько усилий и драгоценного времени на осуществление сочетаний и воспроизводство мириадом букв и слов. Такой мотивацией и служит теперь «информация», получающая доминирующее значение в ее отношении к «сообщению», собственный смысл которого прежде состоял главным образом в демонстрации участия и готовности осуществлять солидарное поведение.

Собственно, письменность, и это составляет главный тезис системно-коммуникативной интерпретации последней, переворачивает прежнюю аксиому коммуникации «главное не успех, главное – участие». В письменном обществе коммуникативный успех становится основной проблемой, и для его достижения единственно возможным средством становится поиск, а лучше производство нового и неожиданного знания и научения из разочарования в знании предшествующем.

Огромные массивы телекоммуникационно-презентированного нового, более не ограничиваемого естественным пространственно-временным и коллективно-личностным контекстом общения и конкретностью ситуации, делают коммуникацию в высшей степени селективной, а достижение коммуникативного успеха в высшей степени проблематичным. Как и всякая техника, решая одну задачу, письменность создает новые проблемы, требующие привлечения новых технологий (прежде

всего технологий обеспечения коммуникативного успеха – властных, монетарных, интимных и иных типов мотивации коммуникации).

**Письменность меняет смысловые значения
коммуникации в социальном, временном
и предметном измерении, что драматически
расширяет возможности коннекции**

Итак, письменность ведет к забвению и нейтрализации контекста – как контекста создания письменно фиксированных смыслов, так и контекста, в котором осуществляется чтение. Поскольку текст требует сосредоточения на себе самом, должен обеспечить мотивацию и пробудить интерес к собственному содержанию, предмету описания, у участников письменной коммуникации не остается времени и интереса к конкретным мотивам порождения текста³⁷. Даже несмотря на наличие авторства, текст дефинитивно безличен, в том смысле, что обнаружение другого (подлинного) авторства ничего не привнесло бы в те способы, каким текст вовлекает и связывает читателя. Очевидно связанные между собой *безличность* текста и отсутствие интереса к мотивам его производства (*прошлым* условиям, генеративный контекст) указывают на в свою очередь связанные трансформации в социальном и временном измерениях коммуникации. Равным образом можно говорить и о сопряжении изменений во временном и предметном измерениях. О некотором, в себе (т. е. с точки зрения формы выражения или сообщения) *иден-*

³⁷ «Кто будет спрашивать, почему Фома Аквинский написал свои “Суммы” и какой прок в знании этого?», – задается вопросом Н. Луман (Луман Н. Медиа коммуникации. С. 65).

тичном тексте можно формировать *различные* мнения, а следовательно – приходится сдерживать *немедленные реакции*. Письменность, по самой своей природе, делает возможным *откладывание* – свободное от давления со стороны непосредственных участников коммуникации – понимания на потом, понимания, которое может осуществляться когда-то и где-то в другом месте кем-то другим.

Таковые изменения в личностном и пространственно-временном характере общения провоцируют изменения и в измерении предметном. Мультипликационная природа письма необязательно расширяет число возможных прочтений. Чтобы сохранить понятность и, главное, информативность (новизну и неожиданность) предлагаемого содержания для самых разных контекстов прочтений (определяемых принадлежностью к различным социальным стратам, полученным образованием, профессиональной, конфессиональной принадлежностью, половозрастными характеристиками и психологическими предпочтениями), объем информации каждого письменного сообщения приходится минимизировать, убирая все предположительно известное, но компенсировать это сжатие беспрестанными предложениями новой информации. Эту задачу подпитывания новизной берут на себя специализирующиеся на этом системы коммуникаций, а именно – массмедиа.

Таким образом, в использовании письменности общество *отказывается от временной и интеракционной гарантии единства коммуникации*. Единство общения (смысл как возможности подсоединения) уже не определяется конкретным пространством-временем и принуждением говорить приятные вещи.

Письменные сообщения должны все еще оставаться понятными и интересными при непредсказуемых условиях чтения (пространственно-временных и личностных

контекстах и ситуациях), а реакции фактически отсутствующих читателей уже невозможно контролировать нормами и правилами личных отношений (личного участия, требующего прочесть для приличия, из вежливости или чтобы не обидеть). Отсутствие ситуационного контроля над читателем, активность которого выходит за пределы пространства-времени и личности автора, делает возможности коннекции (новых письменных реакций на прочитанный текст) поистине безбрежными, причем у автора отсутствует всякая возможность определять даже минимальную адекватность предлагаемых интерпретаций и комментариев заложенному авторскому смыслу. Хаос возможных коннекций письменно предлагаемых коммуникативных смыслов требовал новых способов редукции, восстановления утрачиваемого социального порядка, новых ограничителей для массивов возможных подсоединений.

Выход письменной коммуникации за пределы современности через «откладывание» понимания

Основным следствием появления фонетического письма явилось преодоление пространственно-временной и лично-коллективной структуры традиционного общества, основанного на одновременности и фактической неразличимости сообщения, информации и понимания и вытекающего из этого словно автоматического взаимоконтроля пространственно объединенных участников сообщества. Успех коммуникации определялся указанными контекстами и обеспечивался автоматически. Технологии письма и проблематизация успеха, вытекающие из этих технологий, меняют требования к посылаемому

сообщению. Успех сообщения зависит отныне от его на-
строенности на пространственно-временные и личност-
ные дистанции, на неизвестные интерес и мотивы буду-
щих и далеких читателей. Этот слом древних технологий,
гарантирующих социальный порядок, переориентировал
коммуникацию с полюса сообщения (участия) на полюс
информации о ранее неизвестном.

Мир, многократно обогащенный и мультиплициро-
ванный письменностью, словно выходит в своих про-
странственно-временных структурах за пределы локаль-
ных коммуникаций, обеспечиваемых ею возможностей
предметно обсуждать реалии внешней среды. Мир (как
бытие, как природа, теперь наблюдаемый сколько-нибудь
адекватно лишь всеприсутствующим богом-наблюда-
телем) больше не укладывается в сообщение. И именно
поэтому этот мир – необъятно расширившийся в своих
письменных презентациях – допускает неожиданности
и удивительные вещи (информацию). Поскольку он в
этом смысле перестает быть «одновременным»³⁸ комму-
никации, то, следовательно, сама коммуникация должна
«растягиваться», чтобы в предлагаемых ею информациях
хоть как-то соответствовать обсуждаемому в ней сверх-
сложному миру. Этому растягиванию коммуникации слу-
жило вынесение ее завершающей стадии, *понимания*, в

³⁸ «В случае устной коммуникации, например при проведении дол-
гих представлений по ритуальным или праздничным поводам, ис-
ходят из того, что мир, *в котором* осуществляется коммуникация,
и мир, *о котором* коммуницируется, принципиально не отличаю-
тся, но образуют некий континуум реальности. Еще долгое время
после распространения письменности (и даже книгопечатания) со-
здание чисто фикциональных текстов казалось чем-то само собой
разумеющимся. Сколь бы невероятными ни были рассказы, речь в
них велась о мире, который все могли лицезреть» (*Луман Н.* Медиа
коммуникации. С. 283).

некоторое отдаленное, до конца не определенное время – будущее. Коммуникация теряет свое единство, теряет свою определенность с точки зрения участвующих лиц (читателя и писателя), времени и пространства этой коммуникации. Единственная определенность сохраняется отныне лишь в ее предмете, в той информации, которую выражает письменное сообщение, а лица и времена теряют всякое значение.

Предметная определенность письменной коммуникации обеспечивалась укоренившейся и стабилизовавшейся ее формой – текстом. Технология оттекстовывания, правила составления текстов, типические формы, требования к компоновке и т. д. восстанавливали порядок, поколебленный письменностью как таковой, выступили технологическим контролем письменной техники. Текст явился формой письменного медиума, как когда-то письменность выступила формой для медиума языка, в свою очередь явившегося формой для медиума восприятия³⁹. Эта кажущаяся стабильность являлась паллиативным решением: единство и устойчивость текстов также растворились в массивах накладываемых на них форм – возможных интерпретаций, а с появлением электронной телекоммуникации и единство предмета коммуникативного обсуждения сходит на нет. Вопрос о том, какие новые технологии могут быть предложены и предлагаются для восстановления утрачиваемого единства коммуникации и смогут претендовать на статус новых технологических гарантий социального порядка, требует отдельного обсуждения.

³⁹ Восприятия, выступающего формой медиума звука, в свою очередь давшего форму и собственному медиальному субстрату – шуму, понимаемому в качестве формы медиума воздуха. О такой «диалектике» формы и медиума см.: *Heider F. Ding und Medium. В., 1987. S. 109–157.*

ЗНАНИЕ/НЕЗНАНИЕ КАК ОСЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Уже на этом этапе мы рассмотрим несколько эпистемологических выводов из коммуникативной теории. Эти следствия вытекают из возможности дать универсальное суждение о коммуникации, которое характеризовало бы ее характер независимо от культур, эпох, этносов и страт, к которым принадлежат участники коммуникаций. В качестве такой самой общей характеристики мы предлагаем дистинкцию *знания* и *не-знания*. В каждом обществе эта ось дифференциации людей проходит по-разному, но именно она определяет фундаментальное различие в типах коммуникации.

Такое *универсальное высказывание о коммуникации* возможно как *временная дистинкция* или временная квалификация. Мы делим людей на современных и несовременных, причем среди современников обнаруживаем людей несовременных, а среди наших предков обнаруживаются люди, обогнавшие свое время. Это определение человека во временном измерении, очевидно, не является *независимой* переменной. Оно вытекает из временной

типизации обществ (коммуникативных систем), которые принято делить на *традиционное* общество и общество *модерное*, причем по самым разным основаниям.

При этом речь идет о целом кластере различий. В частности, проводят различие между обществами коллективистскими и индивидуалистскими (Э. Дюркгейм), дифференцированными по «врожденным» свойствам (благородству аристократии) или личным достижениям (успешные специалисты) (Т. Парсонс), между сегментарными и функционально-дифференцированными обществами (Н. Луман), между консервативными и инновативно-ориентированными, между аграрными и (пост) индустриальными, между сословно-кастовыми и демократическими. Этот список можно продолжать.

Первая часть этих дистинкций характеризует скорее общество (и соответственно – типы коммуницирования) прошлого, вторая – общество модерное. Если все перечисленные дистинкции действительно *конгруэнтны*, то у них должно быть некоторое *общее* основание. Представляется, что таковое основание можно искать в принципиальной амбивалентности самой коммуникации.

Отсюда мы можем вывести второе утверждение: *амбивалентность коммуникации определяет различие на знающих и незнающих людей*. С одной стороны, коммуникация является ориентированной вовне (или *инореференциальной*). В этом случае в качестве информации, извлекаемой из сообщения (некоторого вербального запроса на контакт), выступает *чужое знание внешней реальности*. В этом случае, когда говорят «идет дождь», мы делаем вывод, что действительно *идет дождь*. С другой стороны, коммуникация является самообращенной (*самореференциальной*). Из того же сообщения о дожде всегда может быть сделан вывод о том, что партнер желает нас к чему-то мотивиро-

вать, например остаться дома. Целью такой коммуникации является скорее установление и закрепление контактов, а не информирование о внешнем мире. Тогда *информацией* коммуникативного сообщения выступает само сообщение, сама коммуникация, а не обсуждаемый мир. Коммуникация в этом случае оказывается ценна не ради чего-то другого (обсуждаемого предмета), а ради самой себя, ради того, чтобы она продолжалась, а не заканчивалась. Эту идею в особенно явном виде формулирует Н. Луман⁴⁰.

Из сказанного вытекает, что *амбивалентность коммуникации определяет различие в типах солидарности*. Из такой принципиальной амбивалентности коммуникации следуют два типа основанной на ней солидарности: солидарности, основанной на коллективном, *изначально известном* знании (коллективные представления, предания, топика), и солидарности, основанной на *обмене* индивидуальным знанием, информацией, которая известна одному участнику коммуникации и неизвестна другому.

В одном случае (традиционное общество) сплоченность общества выстраивается на известности знания, некоторого набора коллективных верований, в другом случае (модерное общество) коммуникация основана на интересе к ранее неизвестному. В первом случае предметом интереса является поддержание солидарности за счет воспроизводства мифонарративов, традиционных установок, ритуалов, разного рода топосов или общих мест, в другом случае предметом высказывания является внешний мир в его собственных, но главное – новых и любопытных – характеристиках. Эти два типа коммуникации и основанной на ней солидарности можно назвать *мотивационно-интеграционным и информационным* типами соответственно.

⁴⁰ Луман Н. Общество как социальная система. М., 1984.

Это во многом уже тривиальное различие традиционного и нового может служить и универсальным признаком человека. Человек – это человек, различающий прошлое и будущее, известное и новое и исходя из этого различения приписывающий себя к прошлому (константному, традиционному) или современности (ориентированной на вариативное будущее). Но в обоих случаях именно *знание* является основанием солидарного поведения. Отсюда вытекает вопрос о том, каковы конкретные типы этого знания.

В качестве гипотетического выдвинем утверждение о том, что именно *семантика некоторого реестра ключевых интегративно-значимых смыслов определяет солидарное поведение, и к этим смыслам как нечто вполне очевидное мы относим семантику страданий, успеха, любви и внешней опасности. Под семантикой мы понимаем знание слов и соответствующих им универсально-разделяемых смыслов.*

Однако если обратиться к тому, каков конкретный характер этого знания, служащего основанием согласия и солидарности, многие очевидности интеграционно-значимого знания (семантики) оказываются под вопросом. Речь идет прежде всего о знании в области вышеперечисленных важнейших регионов жизненного мира. О каких областях, собственно, идет речь? Во-первых, таковое знание определено семантикой общих страданий, *сострадания* (знание о болезнях, неудачах и знание смыслов соответствующих слов). Я знаю, что другой переживает боль, потому что он, как и я, знает слово, обозначающее болезнь и его референт в виде личного переживания боли. Во-вторых, речь идет о семантике удовольствий и общих *успехов* (удача на охоте, рождение детей, брак и т. д.). В-третьих, речь идет о семанти-

ке любви и дружбы. Мы выражаем дружеские чувства и знаем соответствующие слова. В-четвертых, речь идет о семантике внешних опасностей.

Кажется очевидным, что общее знание слов и их смыслов в этих четырех областях жизненного мира обеспечивает то, что принято называть «эмпатией», вчувствованием, солидарным поведением и в конечном счете – интересубъективностью. С этой точки зрения единственным универсальным суждением о человеке является представление о нем как о субъекте, *знающем то, что переживает другой*.

Другой в этом смысле идентичен или полностью симметричен некоторому Его, поскольку переживания последнего в принципе *доступны* для переживания Другого в той мере, в какой их жизненный мир регионализирован идентично или изоморфно. Именно это антропологическое допущение представляется нам ошибкой, и мы попытаемся опровергнуть его следующим тезисом: *знание и понимание Другого скорее препятствуют коммуникации между ними, нежели мотивируют последнюю*. Собственно это не является каким-то радикальным выводом. И аналитическая философия сознания (как пример – аномальный монизм Д. Дэвидсона⁴¹), и социологическая теория (как пример – теория коммуникаций Н. Лумана) требуют исходить из *асимметрии* сознания (ментальных актов, переживаний) и действия (высказываний). Говоря совсем просто, общение возникает как реакция на принципиальную недоступность сферы ментального, из принципиальной невозможности переживать чужие переживания. Итак, мы приходим к следующим выводам:

⁴¹ Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford, 1980.

1. Переживания, конечно, могут причинным образом порождать физические следствия (действия, высказывания), но эти связи всегда уникальны, не могут представлять в виде физических законов (Д. Дэвидсон).

2. Полное вчувствование препятствовало бы коммуникации, так как означало бы знание подлинных (сексуальных, эгоистичных, стыдных, агрессивных, завистливых и т. д.) мотивов действий, и это знание разрушило бы общение.

3. В случаях, когда сознание *Другого* и без того доступно для *Ego*, коммуникация является избыточной.

В связи с этим: универсальным суждением о коммуникации может служить суждение о незнании, о неосведомленности его участников, тайне и секретности, которые накладываются на соответствующие интегративно значимые смыслы.

Идентичная смысловая регионализация у участников коммуникации создавала бы проблему, которую можно было назвать проблемой общего знания, которое для примитивных обществ вполне могло бы иметь разрушительный характер, поскольку именно аккумуляция знания в небольших сообществах ведет к возможности обмана, злоупотребления общим знанием. Проблема *разрушительного характера общего знания* решалась путем табуирования больших сегментов внешнего мира. Возникла коммуникация особого типа на основе коммуникационных запретов или табу.

В качестве иллюстрации приведу выдержку из книги антрополога Фредрика Барта *“Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea”* и небольшого современного исследования «О чем молчат в кабардинских семьях».

Приведем цитату о характере коммуникаций в племени Бактаман:

Семиступенчатые инициации у племени Бактаман состоят в разоблачении ранее инициированными членами тайн, которые были открыты новичкам на первых ступенях инициаций. Это тайны о мифах происхождения, магии, племенное предание. Речь, прежде всего, идет об акустических, визуальных, тактильных символах (человеческой) силы. Например, мужскую силу символизирует жир кабана. <...> Но самая большая тайна состоит в том, что все тайны, раскрытые на предшествующих ступенях, были ложными. Поскольку требовалось защитить тайные истины, к которым были еще не готовы иницируемые. <...> На каждой следующей ступени раскрытие новой тайны и разоблачение предыдущей повторяется⁴².

В условиях высокой смертности до седьмой инициации почти никто не доживал, так что последняя тайна остается недоступной. В связи с этим «*возможности вчувствования* по отношению к соплеменникам — остаются семантически неразвитыми. Результатом этого является недоверие, организованное вдоль этой главной линии, [разделяющей] *знающих и незнающих*, которая дифференцирует общество. *Общество дифференцировано через незнание*. Не существует никаких семей, сегментарных структур. Возможностей для выражения общего знания практически нет»⁴³. Это кажется невероятным и даже парадоксальным, но вчувствование, способность разделить с другими общие переживания может оказаться дисфункциональной для солидарности. Причем эта установка характеризует и современные отношения.

Приведем несколько выдержек из небольшого исследования «Строгое табу. О чем молчат в Кабардинских семьях»⁴⁴.

⁴² Barth Fr. Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea. New Haven, 1975. P. 35.

⁴³ Луман Н. Медиа коммуникации. С. 73.

⁴⁴ [Электронный ресурс] URL: <http://smartnews.ru/regions/sevkav/17405.html> (дата обращения: 15.06.2015).

В многонациональной Кабардино-Балкарии, если попадете в традиционную семью, вы никогда не услышите разговоров о любви и отношениях между мужчиной и женщиной. Такого рода беседы считаются здесь недопустимыми даже среди молодых. <...> Рассказы об удаче, счастливом происшествии, неожиданном подарке тоже могут быть восприняты как хвастовство. Поэтому ни о чем подобном не рассказывают. <...> Не принято хвастаться и своими детьми, даже если они очень хорошие и удачливые, об их успехах молчат... родители и вообще родственники никогда не похвалят ребенка. <...> Отец избегает показываться на людях с маленьким ребенком, особенно с сыном. Он всегда ведет себя с детьми очень сдержанно, особенно с мальчиками, разговоры отца с сыном сводятся к минимуму. Это объясняется тем, что издавна отец мальчика растил воина. И чтобы тот вырос стойким, сильным, сдержанным, в семье не допускались никакие сантименты, отец практически не говорил с сыном. <...> Люди избегают обсуждать больных и болезни. Если в семье кто-то давно болел, был калекой или душевнобольным, с членами семьи не заговаривали о болезни родственника. <...> Не принято хвалить человека в лицо. Считается, что, когда хвалишь человека в глаза, ты неискренен⁴⁵.

Интерпретируя данные утверждения, допустимо предположить, что базовым условием солидарности, по крайней мере, в некоторых сообществах, оказывается коммуникативная изоляция. При этом гарантией – особого рода *солидарности через изоляцию* – является тайна и табу. Они связывают сообщество через запрещение общего знания. Если общее знание никак не выражено, никто не ошибется в его применении, никто не осуществит обман и не сможет этим знанием злоупотребить. О сакральном же запрещено говорить, и значит, нельзя его коррумпировать словами, исказить, повредить. *Отказ от обсуждений общего знания связывает через элимина-*

⁴⁵ [Электронный ресурс] URL: <http://smartnews.ru/regions/sevkav/17405.html> (дата обращения: 15.06.2015).

цию риска отклонения коммуникации. Люди вместе молчат об опасностях. В условиях, когда слово и объект не различались, всякое высказывание о внешнем (опасном) мире могло привлекать опасность из внешнего пространства, проникающую таким образом в обжитую «середину»⁴⁶. Обсуждение несчастий и болезней, эмпатия, конечно, могут служить условием генерирования согласия, но, с другой стороны, развитие этой семантики может быть «использовано» для разнообразных типов черной магии, насылания болезней, так называемого сглаза и т. д. Поэтому лучше не развивать такого рода рискованное знание. В свою очередь, и семантика радости чужим и собственным успехам может стать способом расположить к себе другого и, как следствие, формой лести и манипуляции. То же касается семантики дружбы и любви, поскольку дружить можно против других и образовывать коалиции. Поэтому на коммуникацию общих чувств и общественного знания следует накладывать запрет.

Все вышеозначенное дает возможность сформулировать некоторые выводы о том, в чем же состоит базовая дистинкция прошлого и современного типов коммуникации (обществ), а значит, и ее универсальная характеристика. Такую дистинкцию, на мой взгляд, можно осуществить, различая *предтрадиционные* типы общения, *связанные общим незнанием*, и *традиционно-модерные* типы коммуникации, интегрируемые коллективным (или новым) знанием. В этом смысле традиционные и современные общества выглядят более близкими друг другу, чем предтрадиционные, поскольку выказывают *общие структурные свойства*. Речь идет о следующих свойствах: и

⁴⁶ Более подробно об этом см.: Антоновский А.Ю. Пространство родового общества // Уранос и Кронос: Хронотоп человеческого мира. М., 2001. С. 41–62.

в традиционных, и современных обществах, во-первых, Другой понимается как отличный от Его, как Другой Эго. Во-вторых, действия Другого и Его понимаются как отличные от переживаний Эго и Другого.

Структура же предтрадиционных типов коммуникаций, а именно – *общества общего незнания*, не предполагает подобных различений, а требует абсолютной симметрии *Другого и Его, действия и переживаний*. Причем общим знаменателем идентификации себя с другим являлись коммуникативные запреты. Внешние причины событий (предметы обсуждений, внешние мировые реалии) выведены за рамки обсуждений.

Напротив, современная коммуникация существенно асимметризирована. Переживание теперь понимается как автономная реальность, не допускающая внешнего контроля, как реальность, вполне способная к автономному существованию, не реализующаяся в действиях и высказываниях, но при этом не вызывающая опасений у Других на предмет скрываемых намерений и злых умыслов. И Другой существенно отличается от Его, поскольку обладает некоторым знанием, неизвестным и удивительным, что именно и провоцирует продолжение общения.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕДИА СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ⁴⁷

В этом разделе мы завершаем обзор развития медиа распространения коммуникации, обращаемся к медиа телекоммуникации, куда включаем все коммуникативные медиа, основанные на электричестве и электронной передаче данных. Господствует убеждение, что электро-телекоммуникация (освещенные дороги, радио и кино, телевидение и электрическая почта) радикально изменили человека, расширив его сенсориум, и трансформировали способности суждения и общения⁴⁸. Как всегда, очевидность этого положения дел больше скрывает, чем прояс-

⁴⁷ Более подробно см.: Антоновский А.Ю. Массмедиа – трансцендентальная иллюзия реальности // Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005. С. 235–255. Также: Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2006.

⁴⁸ «Техника отложенного (suspended) суждения обусловленная нарративными способностями радио, кино и телевидения – [главное] изобретение 20 столетия», – утверждает Маршал Маклюен, имея в виду пространственно-временные эффекты электронной коммуникации (McLuhan M., Fiore Q. The Medium is the Mass Age: An Inventory of Effects. Bantam, 1967. P. 69).

няет. Ниже мы обосновываем, что перечисленные способы электротелекоммуникации не радикализуют, а напротив, сглаживают и нейтрализует тот радикальный разрыв семантической реальности и «естественной» реальности человеческого мира, осуществленный когда-то письменностью и печатью.

Техника электронного общения и надстраивающиеся на ней техники коммуникации в социальных сетях возвращают коммуникацию к ее скорее традиционным *примитивным* формам общения, но в конечном счете приводят к разложению единства трех фундаментальных составляющих коммуникации. Это – ныне утраченное – единство обуславливалось пространственно-временным совпадением процессов *сообщения* (= знаковая презентация смысла), *информации* (конструирование Эго смысла сообщения Другого) и *понимания* (констатация адекватности информации и ее знаковой презентации)⁴⁹. Фундаментальный эффект электронных медиа состоит в отрыве процесса понимания от – ранее конститутивного для него – сообщения информации.

Многие социологи и философы задавались вопросом об основаниях коммуникативного *понимания*. В качестве таковых феноменологическая социология рассматривала некоторое актуально данное в пространстве и времени «ядро реальности», допускающее манипулятивное воздействие членов сообщества и поэтому гарантировавшее понимание и консенсус⁵⁰. Однако новые коммуникативные техники существенно трансформировали возмож-

⁴⁹ В рамках данного раздела в целом мы продолжаем опираться на методологический подход к пониманию медиа коммуникации, развиваемый Никласом Луманом, в особенности: *Луман Н. Медиа коммуникации*.

⁵⁰ *Mead G.H. Philosophy of Act. Chicago, 1938.*

ности общения. Манипуляционное пространство, «выделенная действительность» («paramount reality»), ядро жизненного мира (в которых действительность «одолевал требования жизни»⁵¹ (А. Шюц)), благодаря письменности и печати утрачивают свой статус незабываемых устоев коммуникативного понимания. Ведь в отношении письменных текстов уже не указать на конкретных людей, окружающую природу и артефакты как очевидные значения письменных или печатных сообщений. Если ранее в личном общении понимание мотивов действия обеспечивалось знанием индивидуальной биографии и социального окружения, то письменность и печать отрывают сообщения от содержащегося в нем наблюдаемого, реального мира. Напечатанные деньги, напечатанные законы, напечатанные романы имеют дело и обозначают нечто такое, что способно существовать и вне всякой связи с данными наблюдения, а зачастую и вопреки реальности.

Письменное общение утратило ключевую функцию коммуникации – функцию реактивных, коллективных и согласованных ответов на вызовы среды, согласованного и по возможности неконфликтного удовлетворения витальных и идеальных потребностей. В противоположность этой функции, письмо и печать приобретают принципиально иную задачу, а именно трансценденции: они тестируют границы повседневности, выводят общение *за пределы* ситуативных «здесь» и «сейчас» той или иной социальной группы или сообщества, настраиваясь на лишь возможные, неактуальные события и ситуации.

Однако в дифференцированном (главным образом средствами печати – денег, законов, политических памфлетов, научных публикаций) обществе *понимание становится*

⁵¹ Schütz A. On Multiple Realities // Philosophy and Phenomenological Research. 1945. No. 5. P. 533–576.

ся проблемой. Сообщение и информация расцепляются в пространстве и времени. Возникающие – во многом благодаря печати – национальные государства, несмотря на общий язык и обеспечиваемое им понимание, были дифференцированы функционально. Это существенно затрудняло коммуникацию *за пределами* отдифференцировавшихся функциональных сегментов. В силу (возрастающей благодаря печати) комплексности научного, правового, религиозного, политического дискурсов сколько-нибудь адекватное понимание отныне осуществляется лишь внутренним образом: в рамках соответствующих – научного, религиозного, политико-правового и др. – типов общения, которые собственно и привели к образованию различающихся «обособленных провинций смысла» (А. Шюц)⁵².

Возникшие в каждой сфере собственные способы обозначения потребовали новых средств интеграции, неких «мостов» или «символических образований», задача которых состояла в противостоянии так называемой дьявольской⁵³, т. е. разобщающей, дифференциации. Как соединить различные «провинции смысла»⁵⁴?

⁵² «Finite province of meaning», см.: Schuetz A., Luckmann Th. Structures of the Life-World. Vol. I. Illinois (USA). 1973. P. 22.

⁵³ Никлас Луман остроумно использует синтаксическую противоположность выражений *sym-bol* и *dia-bol*, резервируя за каждым соответственно интегративные и дифференциалистские функции коммуникации.

⁵⁴ Альфред Шюц, вслед за Гуссерлем, выводил возможность универсального понимания из некоего горизонта взаимных отнесений, из функции *аппрезентации*: у всякого восприятия, слова или объекта непременно наличествует некоторое множество “fringes” – отнесенный, избыточных смыслов, коннотаций, реферирующих к чему-то в данный момент и в данном контексте неактуальное, а значит – указывающих на остальной мир. Именно в этом свойстве неполной определенности всякого смысла усматривалась гарантия мирового единства.

Письменность и печать не решали, а создавали интегративные проблемы, ведь все, что было призвано служить в качестве медиа распространения коммуникации (печатные деньги, памфлеты, законы, романы) и интегрировать сообщество, одновременно затрудняло надфункциональное общение и понимание, если ни делало его избыточным.

Вопреки распространенному убеждению, электронная телекоммуникация не перевернула, не виртуализировала жизненный мир, а скорее возвратила его в нормальное русло, восстановив утраченные пространственно-временные координаты между посланным сообщением: знаковой презентацией реальности и ее фактическими – наблюдаемыми в пространстве и времени – прототипами. Ведь все, что мы слышим по радио и смотрим по телевидению, *действительно* говорилось, действительно происходило. Безусловно, то, *о чем* говорилось, может оказаться фальсификатом! Но разве это вытекает из специфики самой техники электрической телекоммуникации? Мы наблюдаем живых, коммуницирующих людей, природу и артефакты, и с этими гарантиями фактичности телесообщений никто не спорит.

Напротив, письменность и печать, по своей социотехнологической функции, разрывали живую координацию и связь общения. Ведь у нас нет никаких гарантий того, что то, что говорится в книгах, действительно говорилось! Письменные социотехнологии уничтожили важнейшую предпосылку коммуникации: можно сомневаться в смысле сказанного, можно сомневаться в том, что интенции высказывающегося соответствуют заявленным, можно сомневаться в том, что высказывающийся хотел сказать, то, что сказал, но нельзя сомневаться в одном: в том, что сказанное было действительно сказано.

Другими словами: прежде именно *информация* коммуникативного сообщения всегда составляла проблемный полюс коммуникации, в то время как *сообщение* (знак, означающее, материальный «носитель» смысла) коммуникативно-презентированной информации оставалось ее незыблемым и непроблематичным фундаментом. Сообщение – в уже давно забытом, бесписьменном прошлом, а ныне в личном интерактивном общении – и образовало общий поведенческий ориентир, в котором невозможно сомневаться и с фактичностью которого приходилось соглашаться. Недаром в русском языке сообщество и сообщения столь близки даже и по звучанию. Мы так долго живем в письменном обществе, что во многом забыли о том рискованном отрыве от реальности, который пришел вместе с книгами⁵⁵.

Наш тезис состоит в том, что именно технологии электронной телекоммуникации послужили механизмами нейтрализации опасности письменных технологий⁵⁶,

⁵⁵ Собственно книги и создали «монстров» – комплексы несовместимых свойств, вполне согласующихся в виде письменных описаний. См. главу «Чудовища» в кн.: Ле Гофф Ж., Трюон Н. *История тела в средние века*. М., 2008.

⁵⁶ Опасность письменных и печатных технологий становится очевидной в эпоху реформации. В период Великой английской революции печать в полной мере проявляет свой потенциал рискованной коммуникации: памфлеты, листовки, манифесты – все разрушало стабильность средневекового космоса. Механизмы, нейтрализующие опасность письменно-печатной коммуникации, появляются лишь в конце XIX в. с возвращением в медиасферу «живых» интерактивно-коммуницирующих людей. Живой голос по радио вступил в конкуренцию с почти безличными газетными описаниями и в этой форме «свободных голосов» внедрял альтернативные ценности в тоталитарных системах. Однако нельзя утверждать, что попыток «возвращения к реальности» и нейтрализации письменно-печатных рисков не предпринималось ранее. Ю. Хабермас пишет об интеллектуальных салонах эпохи Просвещения как интерактивных

явились новой социотехнологией адаптации к технологии предыдущей, способом минимизации ее рисков. Излишне говорить, что таковая адаптация приносила не меньшие опасности коммуникации. Ниже мы покажем, какие трансформации коммуникативных структур произошли благодаря новой, электронной телекоммуникации, а также то, какие новые дисфункции они породили и какие новые технические средства появились для контроля и этих новых медиа.

Вернемся к понятию коммуникации. Коммуникация представляет собой достижение взаимопонимания через *информационный анализ сообщения*. *Понимание* – есть фиксация адекватности или неадекватности *сообщения* и извлекаемой из него *информации*. Если мне с усмешкой сообщают о смерти близких родственников, я фиксирую таковую неадекватность сообщения и информации, но именно поэтому *понимаю* и могу задать вопрос о причине столь странного диссонанса. Каждый акт понимания завершает единый коммуникативный цикл (*сообщение/информация/понимание*) и делает возможным новый подсоединяющийся (и реферирующий к первому) коммуникативный цикл. Коммуникация есть мобильная самореференция некоторого актуального цикла к циклу

формах гражданского общества, где семантика текстов, если можно так сказать, проходила интерактивный контроль. См.: *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Suhrkamp, 1962*. В наши дни парадными примерами такого рода социальных технологий являются технологии академических семинаров, конференций, интерактивные по своей природе защиты диссертаций, ученые советы, принимающие решения о публикации. Тем самым научный текст словно «возвращается» в интерактивное пространство и, ориентируясь на устно-речевые формы презентации, вынужденно утрачивает столь характерную для него монстрообразность. Все мы знаем, что профессора, читающие лекции, и пишут гораздо понятнее.

предшествующему или последующему и в этом смысле всегда дана в виде системы и последовательности коммуникативных актов, как самокоррекция через вопросы, уточнение, прояснения и всегда ориентирована на то, что кто-то что-то *знает, неизвестное* другому, и испытывает соответствующую мотивацию к сообщению об этом или уточнению предыдущего сообщения. Каждый партнер высказывается о том, что, как он думает, *неизвестно* другим. Коммуникация, таким образом, есть процессирование знания из незнания⁵⁷. Однако этот трехсоставной порядок общения был существенным образом трансформирован появлением нового средства распространения коммуникации – письменности и печати.

Электронные медиа коммуникации и восстановление древней интересубъективности через нейтрализацию письменности и печати

Новые – основанные на электричестве – медиа распространения коммуникации полностью сохраняют прежнюю телекоммуникационную функцию: *транслируют знаки вместо физических тел коммуникантов*. Благодаря новым медиа пространственные и временные коммуникативные ограничения окончательно сходят на нет: окончательно расцепляются в пространстве и времени процессы *сообщения* и (вытекающего из соответствующего *понимания*) принятия либо отклонения коммуникации. Отныне (в особенности благодаря электронной почте) время коммуникации (как со стороны отправите-

⁵⁷ О соотношении структур (понятия) коммуникации и структуры (понятия) знания см.: Антоновский А.Ю. Социоэпистемология. М., 2011. С. 118–136.

ля, так и адресата) выбирается *произвольно*. Что высвобождает общение из-под давления актуальной необходимости отвечать *согласием или отклонением здесь и сейчас*. Благодаря этому собственно и возникает *время* на дополнительное обдумывание, на осмысление предложенной коммуникации, что является фундаментальным условием рациональности, требующей снятия спонтанных (квази-условно-рефлекторных) реакций на то или иное событие.

Компьютерная трансформация коммуникации: коммуникативная vs субъектная постановка вопроса

Особая функция в теории коммуникации отводится возможностям ЭВМ в некотором особом «коммуникационном» смысле. Так, Никлас Луман ставит вопрос не о соизмеримости сознания и ЭВМ, как это обычно имеет место в рамках так называемой компьютерной метафоры применительно к познавательным способностям в стиле “artificial intelligence”.

Эпистемологически релевантным становится вопрос о коммуникации с компьютером и о коммуникации компьютеров, в чем, собственно, и состояло не осмысленное до сих пор существо теста Тюринга, в котором эмуляция *сознания* выводилась из *коммуникативного* успеха «общения» с компьютером⁵⁸. Коммуникативный успех теста состоял в реализации формы *знание/незнание*, и имел дело с фундаментальным коммуникативным препятствием и по совместительству ключевым условием коммуникации, а именно – *закрытостью другого сознания*. Коммуникант исходил из того, что ему *известно* нечто, *неизвестное* его

⁵⁸ *Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. No. 59. P. 433–460.*

визави, и именно поэтому коммуникация с компьютером всегда сохраняет хотя бы некоторую степень осмысленности. Ведь как минимум на одной стороне коммуникации общение строится на основе предположения, что партнеру что-то известно, а что-то – нет. Любой пользователь постоянно сталкивается с открывающимися запросами, в которых машина «исходит» из того, что партнер на основе *одному ему известных сведений* способен принять решения о продолжении диалога (например, об установке программы).

Иное дело – коммуникация самих компьютеров, которые, вступая друг с другом в коммуникацию, должны тем или иным способом знать нечто, неизвестное другим машинам, и именно на это ориентировать отправляемые данные. Но как в компьютерной коммуникации возможны коррекции, уточнения, отклонения предложенных сообщений, которые бы образовали цепи обмениваемых сообщений? В компьютер-компьютерной коммуникации «закрытость чужого сознания», *недоступность* информационных процессов перестанут быть основой, стимулом и мотивом коммуникации, подсоединения одних сообщений к другим. Возможно, будут утрачены и прошлые «преимущества» человеческой коммуникации, оперирующей *нечеткими* сообщениями, вызывавшими самокорректирующие запросы. Должны произойти революционные трансформации коммуникации, в которой закрытость психики утратит свое значение коммуникативного препятствия и по совместительству – ключевого условия возможности коммуникации.

Пространственная виртуализация коммуникации: дистинкция поверхность/глубина как фактор социальной инклюзии

Коммуникация в сфере религии и искусства была существенным образом ориентирована на различие поверхностного и глубинного. Магические практики, гадания, обращаясь к зримым поверхностным линиям (костям и внутренностям животных, расположениям светил и т. д.), использовали их для предсказаний социально значимых событий. В свою очередь, орнаментальные линии искусства усиливали значения некоторых выделенных типов коммуникации (орнаментализация сакральных объектов, подчеркивание богатства и превосходства аристократии, украшение военных артефактов). Эта дистинкция глубины и поверхности оказывалась одновременно и механизмом социальной интеграции – фактором эксклюзии и инклюзии в высшие иерархические уровни.

Эта же дистинкция *поверхности и глубины*, теперь в форме различения *монитор/машина*, оказывается ключевым фактором включенности в современность. Тот, кто не знает, как на основе данной чувствам поверхности экрана манипулировать невидимыми и недоступными для наблюдения информационными процессами внутри машины, как обращаться к ней за скрытым в ней знанием, исключается из самых разнообразных типов современной коммуникации: экономической, научной, политической, из искусства и даже из религии. Он не может оформить заказ в интернет-магазине, не знает, какие политические силы претендуют на выражение его интересов, не способен зайти на сайт Лувра, скачивать научные статьи из электронных библиотек. В этом смысле

вполне оправданным выглядит определение Н. Луманом «виртуальности» в качестве «умения» (“virtus”) сопрягать поверхность и глубину.

Обновленная реализация древних мифомагических структур компенсирует и нейтрализует «фикциональность» литературы (письменно-печатной) коммуникации, объединяет вокруг единого «умения» или «навыка» самые разнообразные возможности ангажировать себя (почти одновременно) в самых разных типах общения. Благодаря электрической коммуникации те пространственные разрывы и негомогенности⁵⁹, которые образовывала письменность и печать, теряют всякое значение. Те пространственные препятствия для вступления в коммуникации, к которым привело развитие письма, виртуализируются, т. е. сосредотачиваются в едином “virtus” (= навыке сопрягать поверхность и глубину).

Пространственно-временные гарантии реальности через симбиоз акустики и оптики

Оптические (письмо) и акустические (устный язык) последовательности выражений, живая связь фактического восприятия и живой речи, благодаря письменности были разделены в пространстве и времени. Возникли сложные референциальные коллизии между синтаксической и семантической реальностями, сложнейшие во-

⁵⁹ Т. е. концентрация литературы в библиотеках, искусства в музеях или главных городах, пространственные дистанции между напечатанным денежным знаком и местом, где его возможно потратить, разрывы между местом политического митинга, где раздадут листовки и можно прочитать политический памфлет, и местом голосования и проживания и т. д.

просы репрезентации⁶⁰. Благодаря кино и телевидению мультипликация реальностей, порожденная письменностью оптико-акустическая расцепленность, получает новые гарантии единства и стабильности. Кроме того, восстанавливаются и те гарантии реальности, которые были уничтожены (базирующиеся на наличествующей в языке частицей «не») способности отрицать все, что может быть произнесено.

Кинотелевизионная реальность, синхронизация оптически доступного образа и произносимого текста, уже не допускает своего отрицания или отклонения. В отличие от письменности и печати, допускающих относительно произвольные, в том числе невероятные комбинации известных (и неизвестных) реалий и образов, медиа кино и телевидения репрезентируют то, что *действительно* происходит во время съемки. Кино-телекоммуникация возвращает обществу ее – характерную для далекого прошлого – зависимость от реального, физического времени. И хотя эта зависимость телевизионной коммуникации от «устного» общения, от событий, имевших место в реальном времени и пространстве, тотчас нейтрализуется комбинаторными техниками *монтажа*, все-таки число возможных комбинаций существенно сокращается в сравнении с письменно-литературным «фиктивным» представлением реальности.

Но как объяснить этот ренессанс примитивных форм устной интеракции? *Каковы функции* телевизионного возвращения к реальному времени? Несмотря на то, что,

⁶⁰ Что репрезентирует *письменное выражение* – *устное* выражение, внешний для коммуникации объект или некоторый дескриптивно понимаемый смысл? Что является первичной реальностью, а что надстраивается как форма презентации последней? Или, может быть, письменное выражение указывает на *связь* некоторого устного слова и репрезентированного им смысла?

по видимости, кинотелевизионное возвращение к реальности обедняет коммуникацию, лишает ее виртуальных, фантастических и маловероятных форм, все-таки функционирование новых медиа приводит к обогащению и рафинированию репрезентируемого мира по сравнению с миром повседневным.

Фундаментальной «позитивной» функцией новых медиа становится функция *доверия*, которое вызывают телевизионные образы – мощный противовес недоверию, порожденному печатью. При этом возможности телеманипуляции практически уже не могут приниматься во внимание, ведь их рефлексия и фиксация возможны лишь *после* просмотра, а значит – после фактической акцептации предложенной кино- и телекоммуникации. Реальный (нетранслируемый мир), конечно, предстает довольно бедным в сравнении с изысканностью телевизионных кухни, одежды, хорошей погоды, лиц и поступков, но именно благодаря телекоммуникации он получает ориентиры для своего «совершенствования». *Виртуальная реальность определяет и обогащает реальность реальную.* Встает вопрос, какую цену приходится платить за вышеозначенную «позитивную» функцию. Не связана ли эта «реакция нейтрализации» письменности и печати с «ухудшением» качества человеческого общения?

**Элиминация коммуникативных функций:
информации/сообщения, бинарного
кодирования, воображения и убеждения,
взаимовлияния коммуницирующих сторон**

**Элиминация информации в сообщении:
мы не знаем, какую информацию мы получаем**

Ключевой коммуникативной функцией языка являлось выделение в сообщении некой отличной от этого сообщения информации и вытекающая из этой дистинкции возможность отклонения (отрицания) предложенной коммуникации. Собственно, вся дотелевизионная коммуникация строилась на постановке, непрерывной переработке, уточнении и взаимопереходах двух ключевых вопросов: *что* именно и *почему* именно мне ты это говоришь? Понимание и было согласованием ответов на информационно значимое «о чем?» и мотивационно значимое «зачем?», и такая согласованность или несогласованность обуславливали консенсус или конфликт. Именно последняя способность дотелевизионной коммуникации отклонять коммуникацию, хотя и создавала известные риски, но позволяла создавать все новые и новые формы общения, виды деятельности и продукции. Телевизионная (а впоследствии и особенно – «социально-сетевая») коммуникация в существенной степени устраняет *риски отклонения* коммуникации, за что, естественным образом, приходится расплачиваться и утратой способности различать сообщение и информацию, т. е. *понимать* предложенную телевидением коммуникацию.

Мы, по видимости, понимаем *сообщения общающихся* телефигур, но дефинитивно лишены возможности заключить об их латентных мотивациях, о том, зачем се-

годня вечером по первой программе нам была предложена именно эта, а никакая иная коммуникация. Реципиент телекоммуникации не в состоянии контролировать встроенность предложенного ему коммуникативного акта в некоторый *контекст*, известный режиссеру или заказчику телепрограммы.

Элиминация бинарного кодирования

Базирующееся на языке *да/нет-кодирование* любой предложенной коммуникации в телевизионном общении утрачивает свою предсказуемость алгоритмичность. Агрессивность, опасность, вызываемый этим дискомфорт, непривычность или неприличность транслируемых сцен более не служит мотивацией для того, чтобы избегать такого рода коммуникации и применять дистинкцию *принятия/отклонения*. Сами основания отклонения становятся предельно непрозрачными. Телекоммуникацию отныне невозможно не только понять (т. е. сопоставить ее информационную и мотивационную семантику), ее нельзя и отклонить: то, что требует отклонения, требует первоначального просмотра. И для выработки четких критериев «негативной позиции» к трансляции последнюю приходится анализировать (а значит, в каком-то смысле *принимать*) тем более тщательно. Понимание и отклонение утрачивают согласованность. Если в «традиционной» коммуникации именно *понимание*⁶¹ делало проблемой акцептацию предложенных смыслов и подсоединение

⁶¹ Понимание «истинных мотивов» общения людей (на основе эмпатии или каких-то иных ресурсов «проникновения в чужое сознание»), несомненно, усложнило бы коммуникацию, если не сделало ее излишней.

коммуникативных актов друг к другу, то в рамках кино- и телекоммуникации принятие и понимание сообщения некоторым образом изначально гарантированы. Причем независимо друг от друга! Однако латентность мотивации (т. е. информация о подлинных мотивах) усугубляется; зависит теперь не только от закрытого функционирования сознания, но и от разделяющей границы-поверхности телевизора – по ту и по эту сторону экрана. Телекоммуникация делает понимание и принятие возможными и без информации!

Элиминация коннективных ресурсов коммуникации – воображения и аргументативного убеждения

Конструирование информации из сообщения и их различение, очевидно, требуют для себя некоторого творческого акта, силы воображения, способного усматривать в сообщении нечто, зачастую в нем непосредственно не содержащееся, способного комбинировать: разводить знаки и смыслы, придавать одним и тем же знакам разные смыслы (генерализировать), а одни и те же смыслы выражать в разных знаках (специфицировать). И эта активность по различению означающего и означаемого, безусловно, предполагает временное отключение непосредственного восприятия. Однако аудио-визуальное восприятие телевизионной картинки настолько интенсивно ангажирует все ресурсы внимания, что воображению просто не хватает времени на знаково-смысловую переработку аудиовизуального материала. Эта способность телекоммуникации предельно интенсифицировать восприятие реципиента в ущерб аналитическим и ком-

бинаторным ресурсам воображения делает избыточным коммуникативное убеждение и аргументацию в пользу принятия телекоммуникационных сообщений.

Элиминация внутренней коннективности коммуникативных актов

Подсоединение сообщений друг к другу в дотелевизионной коммуникации происходило селективно, в том смысле, что каждый из участников осуществлял собственный отбор сообщений, интерпретаций, атрибуций смыслов, намерений, установок, ориентируясь на отбор, ранее осуществленный Другим. Коннективность коммуникативных актов носила внутренний характер, т. е. коммуникация включала активность обоих коммуникантов как собственные внутренние составляющие или этапы (сообщение, информация, понимание) и эта активность реализовывалась *в течение* самой этой коммуникации. Парсонс назвал такого рода внутреннюю селективность общения, отвечающую за коннекцию коммуникативных этапов, «двойной случайностью», дающей возможность коммуникации осуществлять некую самокоррекцию, где «Другой» в своем выборе подстраивается под выбор «Его» и сам пытается кондиционировать этот выбор (учитель подстраивается под свойства ученика, с тем чтобы тем не менее воздействовать на его активность и предпочтения). Эту внутреннюю коннективность коммуникативных вкладов Его и Другого разрывает телекоммуникация. Отныне селекция коммуникативных актов осуществляется отправителем и получателем сообщений *независимо* друг от друга. Речь идет о независимых селекциях отправителя (собственный отбор сюжетов, инсценировок, длительности и времени трансляции) и

реципиента (смотреть или не смотреть, когда и как долго смотреть передачу). Утрата этой двойной случайности приводит к тому, что коммуникация утрачивает и возможности самокоррекции, возможности неслучайного взаимоконтролируемого развертывания, ориентированного на ту или иную общезначимую функцию (в примере с учителем и учеником – формирование у ученика компетенций и квалификаций).

Преодоление дисфункций образной телекоммуникации через компьютерную сетевую коммуникацию: новые упорядочивания (селекции) массмедийной коммуникации

Мы перечислили дисфункции, обременяющие ход общения, которыми приходится расплачиваться за то полезное, что принесла с собой телекоммуникация. Последняя, безусловно, преодолела дисфункциональные эффекты письменности и печати, благодаря которым были утрачены гарантии реальности, связи описаний с фактическим, физическим пространством и временем внешнего мира печатных и письменных текстов. Осуществленный в телекоммуникации *симбиоз оптики и акустики* вернул коммуникацию в «реальный» пространственно-временной мир устного общения.

Однако вышеозначенные дисфункции, в свою очередь, требовали их преодоления в рамках иных медиа распространения коммуникации. Новые медиа коммуникации получили название «социальных сетей». Приведем здесь лишь несколько рабочих гипотез, которые, возможно, помогут объяснить некоторые функции и дисфункции сетевого общения.

Первое, что бросается в глаза, связано с привносимой этим типом общения окончательной элиминацией *риска отклонения* предлагаемых коммуникативных актов – риска, связанного с древней языковой способностью осуществлять отрицание всего, что может быть сказано в языке (основанная на частице «не» бинарность языковых актов). Общеизвестно, насколько обременяли коммуникацию трудности порождения первого акта – завязки коммуникации. Это было связано с ее фундаментальным темпоральным свойством: каждый коммуникативный акт, чтобы быть осмысленным, должен встраиваться в историю прошлых коммуникаций. Лишь сетевая коммуникация устраняет этот риск отклонения, которое и само переживается отныне как вполне естественное и понятное, притом что спонтанное завязывание общения выглядит абсолютно нормальным.

Во-вторых, сетевая коммуникация, безусловно, преодолевает те (устно-речевые) рецидивы, которые приносила коммуникация телевизионных образов, и возвращает утраченную в телекоммуникации внутреннюю коннективность (в форме т. н. интерактивности) коммуникативных актов.

Но и сетевое общение, как видно, не является его совершенной формой, и в качестве ключевой дисфункциональной характеристики социальных сетей приходится признавать окончательный *разрыв* единства коммуникации во всех ее измерениях: пространственно-предметном, социальном и временном. Сообщение и понимание теперь фактически никак не связаны друг с другом. Отправитель сообщения в социальной сети неспособен даже догадываться и никак не ориентирован на то, *кто* прочтет его сообщение, прочтут ли его вообще, *что* именно из этого сообщения будет отобрано в качестве

информации, *когда* это сообщение будет прочитано и в какой точке мирового пространства это сообщение будет реципировано. Реципиент в свою очередь не может знать и не ориентирован на то, отправлено ли сообщением именно ему или кому-то другому, что именно в этом сообщении является информацией, ведь оно может быть тривиальным выражением некоторого ментального состояния (т. н. статус), не задуманное в качестве сообщения и не сопровождаемое некоторой установкой или интенцией. Незнание и необязательность закладывания интенции, предположение о котором вкупе с «объективным» смыслом сообщения в традиционной коммуникации приводило к некоторому пониманию, т. е. рефлексии связи «латентного намерения» и «открытого смысла», приводят к тому, что в социальном измерении понимание перестает быть связано с перспективой отклонения коммуникации (элиминация риска отклонения).

Когда-то письменность привела к расщеплению ключевых элементов коммуникации (сообщения и понимания) в социальном и пространственно-временном измерениях. Единственное, что еще как-то связывало сообщение и его понимание в некоторое единство, вытекало из самого *предмета* обсуждения (но уже не из культурно-языковой общности, общей эпохи и общего места такого обсуждения). *Социальные сети сводят на нет это последнее основание коммуникативного единства. Предметность обсуждения размывается, а говорить об одном и том же идентичном предмете превращается в моветон.*

Основания сцеплений коммуникативных актов в социальных сетях, получающих устойчивое выражение в виде связки *пост/комментарий*, практически не исследовались. Очевидным ресурсом коннекции «поста» и «комментария» оказывается ирония или сарказм, ссылки на душевное со-

стояние, последние оптические презентации (фотографии) – одним словом, все, что не может повлечь сколь угодно консистентных и продолжительных последствий, т. е. устойчивых, самокорректирующих, предметно-определенных последовательностей высказываний; того, что в традиционной коммуникации было принято называть текстами, в социальных сетях практически не наблюдается. Единство коммуникации окончательно распалось.

Конечно, история общества на этом не заканчивается, но единство коммуникации конструируется отныне на некотором другом уровне и обеспечивается в рамках общественных подсистем: науки, политики, права, любви, хозяйства и т. д. Их собственные медиа – *медиа коммуникативного успеха* на основе стандартизированных мотиваций (денег, власти, страсти и т. д.) – обеспечивают понимание коммуникативных предложений и связь этого понимания с акцептацией (или отклонением) предлагаемых коммуникаций. Коммуникация на уровне общества в целом хотя и остается возможной, но не может образовывать устойчивые, самокорректирующиеся последовательности сообщений, и поэтому ответственными за социальную интеграцию (в рамках подсистем общества) отныне выступают коммуникативные медиа успеха, к рассмотрению которых мы переходим.

НОРМАТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ МЕДИА УСПЕХА. МЕДИУМ ИСТИНЫ И ЕГО ГЕНЕЗИС ИЗ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК

В этой части исследования мы сосредоточимся на фундаментальном различии между когнитивными типами общения, ориентированными на истины (обобщенный символический медиум коммуникативного успеха), и всем остальным – нормативно-мотивированным типом коммуникации: правом, политикой, религией и др. В отличие от последних, познание может пониматься как выделенный тип коммуникации, мотивированный поисками истины; его специфика заключается в том, что разочарования в ожиданиях (т. е. констатация ложности тех или иных суждений) приводят не укреплению «поврежденной нормы», а к пересмотру утвердившихся прежде ожиданий. Именно это отличает познание от нормативно-ориентированных типов общения – от политической коммуникации, ориентированной на власть, хозяйственной деятельности, мотивированной деньгами, религиозного общения, замкнутого в рамках коммуникации между верующими одной веры. Очевидно, что в правовой системе коммуникации разочарования в ожиданиях

(скажем, в случае преступлений), как правило, вызывают общественный резонанс и этим лишь укрепляют «нарушенную» норму. Аналогичным образом и изображение безобразного в искусстве лишь подчеркивает значение прекрасной формы. В религии представление о грехе не разрушает, а укрепляет религиозные постулаты.

Правда, несмотря на такого рода нормативные реакции в случае разочарования в нормативных ожиданиях, и этот тип общения сохраняет когнитивные свойства, поскольку коммуникация, являясь по своим родовым признакам, наблюдением⁶², по своей структуре изоморфна познанию и знанию. Рассмотрим кратко эту изоморфность.

Знание, согласно его стандартному пониманию⁶³, состоит из двух классов элементов – множеств истинных пропозиций (например, «идет дождь» или «дважды два четыре») и множеств установок или способов существования этих пропозиций, т. е. «я знаю, что идет дождь», «я убежден, что...», «доказано, что...», «предположим, что...». При этом в центр внимания может попадать как первое (истинность/ложность самих пропозиций в придаточных предложениях), так и сами установки-контексты суждений, выраженных главными предложениями: обоснованность тех или иных суждений (обоснованно, что *p*), убежденность знающего в том, что его суждения истинны (уверен, что *p*). Но

⁶² Наблюдением в самом широком смысле: любая коммуникация является осуществлением двух одновременных процессов – обозначением через различение и различением через обозначение. В этом смысле обсуждение той или иной темы (сосредоточение на некотором данном предмете и вывод за сферы внимания всех остальных тем) ничем не отличается от наблюдений сознания.

⁶³ Обсуждение стандартных и нестандартных определений знания см.: Антоновский А.Ю. Семантический контекстуализм и проблема нестандартного определения знания // Эпистемология и философия науки. 2010. № 4. С. 101–118.

ведь и коммуникативные акты почти аналогичным образом составляются, во-первых, из информации о внешнем мире (например, утверждается, что «идет дождь»), извлекаемых из сообщений. И, во-вторых, из самих коммуникативных сообщений, которые принимают те или иные знаковые формы: «надеюсь, что пойдет дождь», «я боюсь, что пойдет дождь», «я хочу» или «я не хочу, что...». Отличие знания от некогнитивной коммуникации состоит лишь в том, что установок во втором случае значительно больше. Но в обоих случаях и сами установки зачастую становятся темой или извлекаемой из суждения информацией, которая обсуждается в коммуникации. Например, сообщение «идет дождь» может оцениваться не на истинность/ложность, а в отношении того, в каком индивидуальном контексте это сообщение произнесено. В качестве информации может «вычитываться» как реальность или тема коммуникативного сообщения (в данном случае характер погоды), так и соответствующий контекст – установка говорящего, например его смысл или мотивация (скажем, мотив говорящего отговорить кого-то выходить на улицу). В этом смысле всякая коммуникация (взятая в самом широком смысле) представляет собой познание, поскольку она является *выбором* своего следующего состояния – либо объектной (информационно значимой), либо мотивационно значимой интерпретации предложенного коммуникативного сообщения.

Очевидно, что на объективную констатацию положения дел («идет дождь») будут реагировать (в рамках коммуникативной реакции на данное предложение) совершенно иначе, нежели на попытку манипулировать или мотивировать своего партнера. Такая типизация коммуникации на собственно когнитивную и все остальное предполагает анализ места истины и ценностей в коммуникации, в особенности в структуре коммуникативных медиа – обобщаю-

щих символов и мотивов общения (таких, как закон, вера, прекрасное, любовь, деньги, собственность, власть). Последние мы, вслед за Н. Луманом, называем «медиа коммуникации» и усматриваем в них особые механизмы и средства отбора коммуникацией своего следующего состояния. Эти механизмы обеспечивают как бы автоматическую акцептацию запросов на коммуникативный контакт, если в качестве аргумента последует ссылка на тот или иной обобщенный символ (истину, власть, право, деньги и т. д.), что и обеспечивает подсоединение системных элементов (коммуникаций) друг другу и образование обособленных систем. Но можем ли мы рассмотреть внутреннюю структуру коммуникации как элемента коммуникативной системы и выйти на более фундаментальный уровень анализа?

Тогда, вслед за Никласом Луманом, предположим, что любая ситуация познания и коммуникации описывается двумя дистинкциями-переменными: *действия/переживания* и *Его /Другого*.

С одной стороны, действие само по себе лишено способности восприятия и для своей реализации словно «учитывает» или представляет собой реакцию на состояние внешнего по отношению к действию предметного мира, данного *переживанию* (прежде всего восприятию) человека. В этом смысле внешний мир, непосредственно данный исключительно переживанию действующего, есть важнейший фактор в ситуации действия.

С другой стороны, коммуникация не осуществляется вне наличия хотя бы двух ее участников. Это означает, что любое общение имеет таким образом как минимум два измерения: социальное и предметное. Все, что произносится в коммуникации, во-первых, имеет в виду некоторый предмет, данный в переживании и внешний по отношению к коммуникации; во-вторых, ориентировано и на некоторого

Другого, которому адресуется все произнесенное и написанное. В этом смысле коммуникативное сообщение непременно ориентировано на две фундаментальные цели: с одной стороны, на информацию и информирование (предмет сообщения) и на солидарность или сплоченность сообщества (участников коммуникации *Его* и Другого).

Для коммуникаций, ориентированных на истину (как и на ценности), в ряду других медиа коммуникаций, это означает следующее: две вышеуказанных дистинкции-переменных любого общения (*Его/Другой* и *действие/переживание*) задают номенклатуру ключевых типов коммуникации и символических медиа коммуникаций:

	Эго переживает	Эго действует
Другой переживает	Истина и ценности В науке переживания <i>Эго</i> (например, данные экспериментов, удостоверяющих истинность теоретических положений) должны подтверждаться переживаниями любого <i>Другого</i>. Ценности должны удостоверить общность чувств членов общества	Любовь <i>Эго</i> своими действиями пытается вызвать переживания <i>Другого</i>.
Другой действует	Деньги—Собственность, Искусство <i>Действия Другого</i> (скажем, притязания на материальные блага) не вызывают ответных действий, а спокойно переживаются <i>Эго</i>, поскольку Другой имеет право собственности или платит. Художник действует, а зритель переживает	Власть <i>Действия Другого</i> влекут действия <i>Эго</i>, если они регулируются властью. Личные переживания должны быть устранены из сферы политической и военной коммуникации

Из этой схемы распределения комбинаций элементарных составляющих коммуникации вытекает интересное следствие. Истина и ценности оказываются родственными мотивациями или ориентирами коммуникации. И те, и другие не фабрикуются в результате действий, а являются общезначимыми переживаниями, обеспечивают согласие на уровне общего характера восприятия, а не общности или координированности действий.

Рассмотрим более подробно специфику и функции истины и ценностей как обобщенных символических медиа коммуникаций. Истина – это двухсторонняя форма общения (поскольку имеет свою другую сторону – ложность). И именно поэтому она предполагает рефлексию, состоящую прежде всего в референции к ее второй стороне, в размышлениях по поводу – никогда до конца не исключаемой – ложности того, что предполагается истинным. Начиная с Поппера, философы науки признают рефлексивную ценность фальсификационного критерия научного знания. Ценности, напротив, несовместимы с их рефлексивным обсуждением на предмет их проблематичности и невалидности. Такой ход в обсуждении запрещен, поскольку опасен для общезначимого характера ценностей.

С другой стороны, в коммуникациях, стилизованных под когнитивные (т. е. допускающих когнитивные реакции на разочарование в ожиданиях), именно ложность (а не истинность) суждения выступает главным фокусом рефлексии. О самой истине практикующий ученый не задумывается, если только он не поднимается на уровень наблюдения второго порядка и фиксирует саму форму (инструмент, дистинкцию), благодаря которой осуществляется наблюдение. Но платой за это становится утрата (вследствие своего рода гештальт-переключения) воз-

возможностей наблюдать непосредственный предмет исследования ученого (вспомним второй закон Спенсера-Брауна, утверждающий, что коррелятом и результатом различения различения, т. е. концентрации внимания на самом различении, становится некое «неразмеченное пространство», см. первую часть нашего исследования). Это означает следующее: познание осуществляется как аккумуляция нового знания о реальности, в то время как сбой в познании, ошибка, парадокс сразу делают познание рефлексивным, поскольку лишь такого рода сбои заставляют ученого задумываться о причинах неудачи. Сбой, ошибка заставляют вносить коррективы в научный метод, в инструментарий, смысл которого распределять научные пропозиции по значению истины и лжи и тем обеспечивать закрытый характер научной системы (ведь третьего значения в науке не предусмотрено). Истинная сторона в дистинкции (форме) истина/ложь остается недостаточно рефлексированной. Истинное на этом уровне наблюдения тождественно знанию, т. е. является некоей избыточной предикацией научного знания предмета или реальности. Выделение признака истинности как специальной характеристики знания не имеет большого смысла в самом научном исследовании. Так, если открывается новый химический элемент, ученый не будет утверждать, что одновременно с ним он открыл и истину, в силу простой избыточности и тавтологичности такого заявления. Речь идет об открытии новой реальности. Если же выясняется, что произошла исследовательская ошибка, в этом случае как раз ложность, а не реальность становится предметом осмысления и резонанса. И именно в этом случае исследователь оказывается способным занять позицию наблюдателя второго порядка: размышляет уже не о гипотетическом химиче-

ском элементе, а судит о своих прежних высказываниях о реальности как ложных, обращается к методу, иным теориям или условиям эксперимента на предмет их неадекватности и пересмотра.

В этом смысле истина как двухсторонняя форма очень похожа на другие медиа общения или формы, а именно: деньги, власть, закон, веру, право, выступающие аналогичными обобщенными символами хозяйственной, политической, религиозной коммуникации, поскольку обобщают соответствующую деятельность и коммуникацию и служат интегрированию (подсоединению) общеориентированных (на общий символ) коммуникаций в ту или иную систему. Неважно, что производит участник рынка, *деньги* служат мерой любых товаров. В этом смысле и принимающего решение чиновника мотивирует не окружающий контекст (экология, предпочтения электората), а необходимость реализации *коллективно-обязательного решения*, принятого вышестоящей властью. *Власть* служит мерой любых решений.

Практически у всех перечисленных медиа есть другие, негативные полюсы, которые запускают процессы рефлексии. Скажем, в рамках правовой коммуникации законопослушное поведение не требует своего осмысления. Однако нарушение закона запускает рефлексивные процессы, производит общественный резонанс и приводит к торжественному восстановлению значения нарушенной нормы. В медицине именно болезнь, а не здоровье как негативная сторона дистинкции *болезнь/здоровье* запускает медицинскую рефлексию.

Из вышеприведенной схемы возможных комбинаций конституэнт коммуникации (*действия/переживания, Ego/Другого*) вытекает следующее. Истина и ценность суть родственные мотивации, которые не противостоят друг

другу, а имеют общую функцию. Ее можно назвать функцией удостоверения общего знания, удостоверения общности переживаний Его и Другого. Другими словами, ни истина, ни ценности не могут фабриковаться, не являются результатами действий. Именно это отличает данные медиа коммуникации от правовых норм и от власти, функционирование которых предполагает каузальные связи между действиями Его и действий Другого (что очевидно осуществляется в политике, где действия-решения власть имущего запускает действия-решения подчиненного). Иным образом обстоят дела в сфере общения, регулируемого и мотивированного истиной и ценностями. Очевидно, что если бы истину можно было, говоря словами Джамбатисто Вико, «производить», то разные действователи производили бы разные истины. Ценности (справедливости, здоровья, мира, жизни) в свою очередь не создаются и не фабрикуются, а представляют всеобщим образом переживаемые (= общезначимые) установки.

Если анализировать ценности в понятиях медиа и форму, возникает ряд вопросов. Являются ли ценности двусторонними формами с негативной и одновременно рефлексивной стороной? Есть ли у ценностей негативная сторона, которая бы отвечала за рефлексию? Совместимы ли ценности и рефлексия? Чем похожи истина и ценности и чем они отличны? Представляется, что ценности, в отличие от истины, не имеют рефлексивной стороны. Истины удостоверяются в процессе рефлексии и обсуждения, приложения теории и методов и, как следствие, укрепляют свой общезначимый характер. Ценности же разрушаются в процессе их обсуждения, утрачивают свой общезначимый характер. Никто не будет спорить, что справедливость лучше не-справедливости (в этом и состоит общезначимость данной ценности).

Однако при попытке обсудить понятие справедливости неизбежно выяснится, что под справедливыми полагаются разные поступки.

Попытаться ответить на вышеозначенные вопросы можно, рассмотрев истину в ее генезисе и развитие в полноценное средство коммуникативного успеха научной системы коммуникаций. Если коммуникация действительно ориентирована на две зачастую абсолютно противоположные цели: на объектную и субъектную, на информационное описание мира и на интеграцию сообщества, то следует поставить вопрос об исторических приоритетах того или другого полюса коммуникации. Одновременно рассуждения об историческом генезисе истины предполагают вопрос о том, как появляется независимое от целей сплоченности сообщества объективное суждение о внешнем мире? Как предмет сообщения стал значимым для общения в силу его собственных характеристик, скажем, новизны и интересности (т. е. известности для сообщающего Его и неизвестности для Другого)? Каким образом коммуникация приобретает когнитивный характер, т. е. переходит от ориентирования на дистинкцию нормативного (сплоченности)/ненормативного (опасности для сообщества), к дистинкции известности/неизвестности, знания/незнания?

Из некоторых историко-культурологических штудий⁶⁴ известно, что истины в античности еще не были стилизованы под коммуникации в виде позитивных суждений об общезначимых переживаниях. Истина скорее характеризовалась как некая характеристика действия, состоящего в отрицании сокрытости. Истина как *A-letheia* во времена

⁶⁴ *Levet J.-P.* Le vrai et le faux dans le pensee grecque archaique: Etude de vocabulaire. Vol. 1. Paris, 1976.

Гесиода и Гомера понималась как некая деятельность по предупреждению забвения, сокрытости, по поддержанию непотаенности, что, как известно, достигалось на пути ритмизации эпоса. Вырвать из забвения значило облегчить воспоминания на основе ритма. Истина и позднее понималась как деятельное умение, как характеристика знания-умения, т. е. как следствие манипуляций: *techné*, *poiesis*, *sophia* [Н. Луман, 2006, с. 160]. Вместе с тем и ложь, *pseudos*, не сразу выступила в функции некой противоположности «другой стороны» истины в современном смысле, а первоначально функционировала как самостоятельный ориентир. Это понятие указывало на неправильную передачу знания, на преступление долга говорить правду. Ложь в этом смысле не сразу была «разрешена» и первоначально не являлась нормальным случаем, еще не могла выступить в качестве другой – рефлексивной – стороны истины, не являлась (простительной в случае ее ненамеренного производства) ошибкой или заблуждением, каковым она предстает в современной коммуникации (в особенности – научной).

В целом историко-генетическое рассмотрение истины показывает, что первоначально и *altetheia*, и *pseudo* некоторое время выступали в функции ценностей, являлись некоторыми нерефлексивно принимаемыми установками, которые – будучи действенным запретом на неправду и коммуникативным запретом забвения – ориентировали и мотивировали коммуникацию преимущественно в целях сплоченности того или иного сообщества, а не информирования о чем-то новом. Для того чтобы появилась – отличная от задач интеграции – информативная ориентированность сообщений, чтобы возник предмет, интересный сам по себе, а не в качестве инструмента интенсификации солидарности, потребовались новые медиа

распространения коммуникации, прежде всего письменность и особенно печать, которые сделали возможным коммуникацию, неподотчетную социальному контролю, и, как следствие, привели к разрушению коллективных (ценностно-определенных) представлений. В результате *aletheia* как коммуникативный запрет на забвение и *pseudo* как коммуникативный запрет на намеренно ложные утверждения утрачивают функцию ценностей, в этом качестве ценностей, дефинитивно недоступных для рационального обоснования.

И ценности, и истина возникают как ответы на главную проблему коммуникации: на замкнутость психики, на недоступность переживаний Другого для переживаний Эго. Прежде оба медиа решали проблему социального порядка, обеспечивали «общий базис», «бесспорные начала» общения, которые были бы «выше» действий (воли, интересов, индивидуальных целей), поскольку словно «объединяли» сознание участников «примитивной» коммуникации. В этом смысле и *aletheia*, и *pseudo* еще не служили значениями пропозиций, суждений о некотором объекте, а существовали в функции автономных друг от друга ценностей с разными задачами, в функции общезначимых установок с функцией поддержания сплоченности и интеграции.

Итак, путь развития истины состоял в (1) синтезировании ее двусторонности из первоначально автономных ценностей (*aletheia* и *pseudo*); (2) одновременной утрате роли генератора сплоченности сообществ (3) ее трансформации из деятельностных императивов в обсуждение общности переживаний. Судьба же остальных ценностей складывается иначе. Письменные и печатные, прежде всего критические вербализации ценностей приводят к

утрате общезначимого характера ценностей⁶⁵. Когда-то все медиа коммуникации являлись ценностями (= не вербализованными, но универсально разделяемыми коммуникативными установками). В своем многообразии (истины–богатства–власти–красоты–божественности) они образовывали единый коммуникативный континуум в том смысле, что таковые предикаты словно автоматически приписывались представителям аристократии и клира, а атрибуция одного из них требовала атрибутировать и другие. Однако в процессе эволюции коммуникаций ценности эволюционируют, трансформируясь в особого рода коммуникативные медиа, вокруг которых стабилизировались обширные практики коммуникации (наука, политика, религия, искусство, экономика). Бывшие ценности теперь квантифицируются и требуют своего удостоверения: ценность богатства определяется рынком и деньгами, истинность суждений – теориями и методами, прекрасное – степенью принадлежности и качественности выражения того или иного художественного стиля, вера – конфессиональной принадлежностью. Статус подлинных ценностей сохранило лишь то, что не допускает точной вербальной оценки и рефлексии, а значит, уничтожается в процессе обсуждения. Современные ценности могут существовать исключительно вне дискурса и критики.

⁶⁵ Всем известны расхождения в суждениях о ценностях. Так, ценность чистоты и гигиены не выдерживает критики с точки зрения их полезности для здоровья, поскольку ослабляют иммунитет. Ценности *мира, здоровья, справедливости* общезначимы лишь до тех пор, пока они не становятся предметом обсуждения, показывающего их неоднозначность. Надо ли сохранять *мир* с фашистскими режимами? И разве не болезни и смерть индивидов с точки зрения эволюционной теории являются условием жизни и здоровья популяции в целом? И справедливо ли уравнильное (справедливое) распределение благ?

Итак, истина перестала быть отрицанием сокрытости, а ложь из нормативного запрета говорить неправду превратилась во вполне ожидаемое, нормальное, разрешенное состояние. И ложь, и истина перестали быть ценностью, долгом, действиями и превратились в характеристику и критерий предметных суждений и знания, удостоверяемого intersубъективностью переживаний (исследователей и ученых). Ведь если суждения претендуют на статус истинного знания, то такое суждение не может не удостоверяться переживаниями и восприятиями всех без исключения людей и не должно фабриковаться или оказаться следствиями манипуляции. Истина не терпит разнящихся мнений, выбор значения суждения определяется не волей, целями, интересами (т. е. свободным действием) коммункантов, а внешней реальностью, т. е. общностью переживаний воспринимающих внешний мир сознаний. Возникает парадокс: результаты науки (огромного массива специальных действий) не зависят от самих этих действий.

Мы рассмотрели в общем виде трансформацию коммуникативной формы истина/ложь, которая в современной коммуникации квалифицирует знание, распределяя его по двум указанным значениям. А как обстоит дело с самим знанием? Какую роль в понимании научного знания играет его коммуникативная природа? Должно ли знание рассматриваться как *индивидуальное* достижение или его также следует рассматривать в *системно-коммуникативной перспективе*? К этому вопросу мы обратимся в следующих разделах.

ЗНАНИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И В СИСТЕМНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВАХ. STS, ANT И TSS⁶⁶

Если исходить из бинарной перспективы (участника коммуникации и системы, в которую он включен), то почему бы не использовать эту оптику применительно к *знанию*? И действительно, любое высказывание можно анализировать с точки зрения непосредственного обладателя знания, индивидуального сознания, как и с точки зрения социальной системы (скажем, социальной системы науки, образования и т. д.), которая использует и хранит знание, распределенное на огромное множество сознаний. Знание в первом смысле⁶⁷, из его индивидуальной перспективы, представлено высказываниями, отвечающим критерию (1) истинности, (2) обоснованности и (3) убежденности.

Это определение, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность (с точки зрения самого высказывающего и высказывания), является исключительно комплексным,

⁶⁶ Глава написана при поддержке фонда РГНФ, проект № 14-03-00811.

⁶⁷ Используем здесь одно из т. н. стандартных определений Родерика Чисхолма: *Chisholm R. Theory of knowledge*. N.Y., 1966.

если его рассматривать структурно и функционально, т. е. исходя из его внешнего контекста и состава. Так, знание (belief) как необходимое дополнение к мотиву (desire) очевидно выступает одним из двух условий действия⁶⁸ и одновременно условием коммуникации, а значит, является предметом интереса социологии. Истинность в ее функции критерия знания традиционно выступает предметом интереса философии (эпистемологии). Обоснованностью интересуется логика и теории аргументации. Убежденность как критерий знания, очевидно, представляет собой предмет интереса психологии. А то обстоятельство, что знание должно формулироваться как синтаксически правильно сформулированное предложение, требует лингвистического рассмотрения.

Итак, в системной перспективе контекстуальный анализ любого утверждения (выявление условий его возможности) требует анализа языка, психических установок, возможных действий и коммуникаций, в которых оно применено, логической структуры утверждения и, конечно, — и не в последнюю очередь — самого предмета или темы высказывания, выступающего таким образом в роли truth-maker, т. е. фактора истинности, и в этом смысле — главного условия возможности знания.

Положение, однако, усложнилось, когда некоторые из перечисленных дисциплин вступили в спор друг с другом за эти условия познания как за свою исключительную прерогативу. Скажем, социология в лице ее сильной программы (Эдинбургская школа⁶⁹) посчитала, что тра-

⁶⁸ Если кто-то *желает* в театр и *знает*, где он находится, то знания этих двух условий (как минимум с точки зрения так называемой народной психологии) абсолютно достаточно для объяснения действия — посещения театра.

⁶⁹ Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago, 1991.

диционно философская проблема истинности должна исследоваться социологически. Ранее как нечто само собой разумеющееся принималось, что истинное знание понятно само по себе, поскольку истина и ложность устроены *асимметрично*. Подразумевалось, что истинность высказывания определяется предметом (в его роли truth-maker) и не требует выяснений *социальных условий ее возникновения*, в то время как знание ложное должно быть объяснено путем экспликации *социальных условий* ложных суждений – идеологических, социальных или иных условий, препятствующих достижению истины. *Сильная программа* в социологии выдвинула тезис о симметричном характере истины, имея в виду, что и возникновение истинного знания, в свою очередь, должно получить социологическое объяснение. И действительно, истин много (и в перспективе – бесконечно много), но лишь очень немногие из них получают *институциональную поддержку, финансирование, публикуются в журналах, и встречают критику и одобрение коллег*, и в конечном счете словно «искусственно отбираются» путем применения указанных «инструментов» отбора.

Итак, очевидное и простое знание в перспективе того индивида, который осуществляет высказывание, превращается в сложнейшее утверждение с точки зрения его интегрированности в его внешний и внутренний контексты, с точки зрения *наблюдателей второго порядка*, анализирующих его высказывание с других системных позиций и перспектив. Из такой проблемопостановки вытекают следующие вопросы. Насколько равнозначны эти два модуса знания и насколько они совместимы друг с другом? Как вообще возможно что-то знать, приходиться к консенсусу, если всякое (синтаксически идентичное) высказывание обнаруживает разные контексты? Являет-

ся ли то, что мы признаем знанием в первом случае, таким же знанием, исходя из более «высокой» перспективы наблюдения? То, что одному наблюдателю предстает как обычная вода – жидкая и смачивающая субстанция, в перспективе комплексного и системного наблюдения имеет внутреннюю молекулярную структуру, выражающуюся соответствующей формулой, включено в другие химические соединения и т. д. и т. п. Знание в первой перспективе наблюдение предстает как *незнание* в другой перспективе, а из противоречия следует все, что угодно, или, говоря словами П. Фейерабенда, *anything goes*. Где же тогда локализовано подлинное знание – в индивидуальной или системной перспективе наблюдения? Мы предложим два ответа на этот вопрос и воспроизведем две соответствующие возможности сформулировать начала *социальной теории знания*.

STS – нормативные ограничения когнитивных процессов⁷⁰

СТС (Science and Technology Studies) – комплексное современное направление в исследованиях социологии науки и техники. Одно из его направлений состояло в стремлении *совместить* означенные выше и принципиально различающиеся представления научного знания, выйти за пределы исключительно *однолинейной* (научной, предметно-ориентированной или экспертной) его презентации, скоординировать наблюдения ученых, т. е.

⁷⁰ Наиболее известные представители: С. Сисмондо, Т. Пинч, Г. Коллинз, С. Фуллер, Ч. Троп. Как пример см. компендиум: The Handbook of Science and Technology Studies / Ed. by E. Hackett, O. Amstermamska et al. 3-th ed. The MIT PRESS, 2008.

тех, кто это знание создает, с когнитивными возможностями и интересами тех, кто этим знанием в конечном итоге пользуется.

Попробуем свести программу STS – очень селективно и произвольно – к ряду утверждений.

Научное знание, с точки зрения разработчиков STS, предстает как *непрозрачное* для непосвященных, в этом смысле претендует на *элитарность*, а значит, оказывается дефинитивно *недемократичным* и вместе с тем притязает на монополию в своих суждениях о соответствующей сфере реальности. Наука-де управляется экспертами, неспособными публично и доступно представить свои результаты и цели в распоряжение обывателя, политических институтов и массмедиа. Эксперты уклоняются от публичных отчетов⁷¹ в отношении своих достижений и неудач. В этом наука существенно *отстает* от политики, которая когда-то в прошлом тоже управлялась экспертами, не обязанными представлять публичные отчеты, но демократические институты и требования публичности заставили политиков такого рода отчетность предоставлять.

Наложение такого рода внешнего контроля требовало отказа от Веберовского понимания науки, в частности от положения о том, что «достижение ученого возможно только через специализацию»⁷². Наука должна все-та-

⁷¹ Наука в этом смысле должна включать в себя некую «Нижнюю церковь» (С. Фуллер) задача которой – представлять публичные отчеты своих достижений и рассматривать (и согласовывать) иные наблюдательные перспективы (прежде всего конечных пользователей знания) как валидные и для самой науки (*Sismondo S. Science and Technology Studies and an Engaged Program // The Handbook of Science and Technology Studies. MIT PRESS, 2008. P. 18*).

⁷² Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произведения. М., 1990. С. 707–735.

ки выйти из состояния «блестящей изоляции» на некий глобальный уровень и превратиться в так называемую ангажированную программу. Ученому вовсе не следует воздерживаться от оценочных суждений и страстей, и даже напротив – он должен предстать в дополнительной роли *активиста*.

Как следствие, приходится отказываться и от корреспондентской теории истины в пользу *конвенционализма*. Ведь истинность теории, по мнению разработчиков STS, определяется экспертной оценкой. А экспертная оценка, в свою очередь, определяется фактом инклюзии эксперта в замкнутое сообщество экспертов. Объективная истина, конечно, возможна, однако лишь там, где знание потеряло свою актуальность. Подлинная наука – это сфера дискуссий и контrovers. Однако в условиях такого рода дискуссий именно социальные факторы (мнения экспертов, рецензий рецензируемых журналов из международных баз научного цитирования, фондирование и гранты) имеют решающее значение в принятии решения о *текущей* истинности суждений и теорий⁷³.

В этой связи существенно меняется и представление о *природном*, «естественном» характере знания. Знание-де вовсе не должно как-то соответствовать и «следовать» за объектом, данным разным исследователям универсально в виде их идентичных переживаний (т. е. когнитивно и интерсубъективно). Знание, следовательно, не обязательно доказывается и обосновывается на основании универсального и принудительного пути рассуждения (метода), в которых внешний мир дан чувствам исследователей

⁷³ Тезис Г. Коллинза состоял в том, что принадлежность к сообществу экспертов значит в для решения научных контrovers гораздо больше, чем научный метод (*Collins H.M. Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. L., 1985*).

принудительно. Напротив, знание *изготавливается* в лабораториях в процессе экспериментирования. Но как тогда избежать произвола в формулировании познавательных утверждений? Именно лаборатория, по мнению адептов STS, есть коллективное и в этом смысле – такое же *естественное* образование, каковым считалась окружающая природа. В каком-то смысле эксперименты и коллективы (лаборатории) даже оказываются «природнее» самой окружающей (т. е. не включенной в лабораторное экспериментирование) природы. Как следствие, меняется значение полюсов в отношении *искусственного/естественного*. То же, что прежде полагалось «искусственным» (созданное в лабораториях и сконструированное в научных исследованиях), порождает то, что раньше считалось естественным. Так, лекарства создают болезни (в прямом и переносном смысле), ведь классификации болезней отвечают методам лечения болезней, которые, как следствие, и определяют то, что следует лечить в качестве болезни⁷⁴. Так, климатологические прогнозы в некотором смысле создают погоду, поскольку исключительно благодаря климатологии и в ее рамках генерируется классификация на климатические зоны, что и позволяет затем и в самом мире обнаружить (сконструировать) климатические различия⁷⁵.

Означенный выше конфликт между требованием публичных демократических решений и элитарным характером научной экспертизы должен был, по мне-

⁷⁴ Ожирение не считалось патологическим состоянием, пока не возникли методы борьбы с ожирением. Другие примеры: *Fishman J. Manufacturing Desire: The Commodification of Female Sexual Dysfunction // Social Studies of Science. 2004. No. 34. P. 187–218.*

⁷⁵ *Miller C. Climate Science and the Making of a Global Political Order // States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order. L., 1984. P. 46–66.*

нию представителей STS, решаться через демократизацию экспертизы, публичный и политический контроль. В связи с этим были описаны интересные случаи участия ВИЧ-пациентов в экспериментах над ними и в первую очередь в решениях о справедливом (с точки зрения пациентов, т. е. самих предметов исследования) распределении лекарств⁷⁶, что, конечно, ослабляло научные возможности сравнивать эффективность препаратов по степени их воздействия.

Уже здесь в этой попытке согласования двух наблюдательных перспектив (экспертной и системной, с одной стороны, и индивидуальной, с другой) просматривается идея наложить на когнитивные процессы нормативные ограничения, которые бы служили согласованию этих перспектив (консенсусу). Это идея нормативных ограничений апеллирует к традиционным средствам достижения консенсуса: прежде всего – к идее третейского судьи или суда присяжных, которые, не являясь специалистами (т. е. ограничены в их когнитивных возможностях), все-таки способны сопоставить предложенные контрверзы – тезисы экспертов (адвоката и прокурора) – и могут нормативно (путем принятия обязательных к исполнению решений, ориентированных на право) определять истину. В этом смысле и наука не должна становиться здесь исключением: и в науке сложнейшие контрверзы и дилеммы могут быть вынесены на суд обывателей – *laypersons*, презентироваться в популярной форме и разрешаться публично на основе решений внешних по отношению к науке институций.

Перечисленные выше принципы существенно подрывали представление об автономном и обособленном характере научного знания. С одной стороны, в само на-

⁷⁶ *Epstein S. Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge. Berkeley, 1996.*

учное сообщество теперь могли включаться те, кого следовало бы исключить как не имеющих должных квалификаций. С другой стороны, и сами «предметы научного обсуждения» (пациенты в медицинских, биологических и др. исследованиях) в каком-то смысле получали статус исследователя, что нарушало базовый принцип наблюдения, где наблюдатель и наблюдаемое должны быть разведены в пространстве, а эффекты, вносимые наблюдателем, устранены из картины наблюдения.

Решение совместить столь разнонаправленные перспективы наблюдения предполагало формулирование нормативных основ научной экспертизы, что требовало включать в состав экспертов не-ученых, с принципиально иными – *стабилизирующими научный процесс* – мотивациями. Ведь последние, в отличие от ученых, ориентированных исключительно на новое, неизвестное, любопытное, опасное (т. е. инновации), привносят в науку нормативные установки, предполагающие *устранения* всего опасного, рискованного, существенно выходящего за пределы привычных ожиданий, норм права, морали и т. д. (Всем известно о бесчисленных запретах на исследования и разработку ГМО, онкопотентных клеток, клонирование и т. д.) Предполагалось, что такого рода «совмещенное» или «усредненное» знание способно демократизироваться и популяризироваться и в конечном счете адаптироваться к когнитивным возможностям простого обывателя, что, как следствие, нейтрализовало бы парадокс *anything goes*. Таковая нейтрализация предполагала, что некая «гражданская эпистемология» в функции публичной экспертизы ограничит произвол исследователей.

Знание в акторно-сетевой теории

Вроли эксперта, с точки зрения STS, мог выступать и простой сантехник, поскольку он выступал конечным и в этом смысле более компетентным пользователем знания (luser = local user). Программа STS представала своего рода вызовом в отношении традиционного представления о науке – как исключительно автономной, специализированной (М. Вебер), операционно-замкнутой функциональной системы (Н. Луман), ориентированной на когнитивные реакции в случае нарушения той или нормы (нормативного ожидания), а значит – ее пересмотра.

В качестве своего рода ответа на этот «нормативный» пересмотр принципов научного наблюдения может быть рассмотрена Акторно-Сетевая Теория, словно защищающая знание от нормативного контроля со стороны внешних для науки общественных инстанций путем введения туда новых НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ игроков или агентов. Задача виделась в том, чтобы обосновать знание так, чтобы оно, во-первых, не зависело бы от индивидуальных (а значит, локальных, случайных, контингентных) перспектив наблюдателя и, во-вторых, не зависело бы и от замкнутой в себе корпорации ученых, неспособных и не желающих выставить свои достижения на публичный и открытый нормативный суд. Но как это сделать, не прибегая к нормативным ожиданиям сантехников и водопроводчиков? С точки зрения АСТ, следовало «дать слово» не только пациентам и «люзерам» (что ограничило бы когнитивный произвол в отношении всякой нормы со стороны ученых), но и шире – самим объектам исследования – микробам, лошадям и гравитации и т. д.

В статье “A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence”⁷⁷ Бруно Латур рассматривает случай эволюции лошадей, как она представлена в научных реконструкциях (с точки зрения ученого, руководствующегося «последними данными»). Эта эволюция, с его точки зрения, имеет очевидное направление – увеличиваются размеры тела, утончаются ноги, удлиняются зубы. Между тем эволюция семейств и популяций лошадей, взятая сама по себе и в каждый конкретный момент, имела свой собственный конкретный вектор – и к уменьшению, и к увеличению, и к утончению, и к утолщению органов. Исследователи-де, как правило, имеют дело с последней стадией эволюции и лошадьми последнего типа. Но ведь это никак не определялось линией развития самих многочисленных семейств и популяций лошадей. В этом смысле: *эволюция лошадей и эволюция знаний в отношении лошадей суть две разные и гетерогенные последовательности событий.*

И действительно, эволюцию лошадей определяют случайные факторы развития: давление и разнообразие среды, случайные мутации. Между тем эволюция представлений о лошадях определяется собственными факторами, среди которых ошибки в интерпретации, коррекции коллег, давление времени и социального окружения, точность инструментов, поддержка институтов и финансирования и т. д. Но эти две истории в некоторые моменты словно способны сопрягаться: так, некоторые «архаические» лошади с конкретными векторами «случились» к конкретным исследованиям и конкретным исследователям, как в свое время Ньютон «случился» к гравитации, а Пастер «случился» к микробам.

⁷⁷ См. Latour B. A Textbook Case Revisited – Knowledge as a Mode of Existence // The Handbook of Science and Technology Studies. MIT PRESS, 2008. P. 83–112.

Пересмотр корреспондентской теории истины в пользу прагматизма и понятие сети

Из этого на первый взгляд невинного переопределения роли *объекта*, который теперь и сам может рассматриваться как некий «коммуникативный партнер», способный предложить собственные «пропозиции» в отношении себя, вытекали гравитирующие следствия в отношении *теории истины*. С точки зрения АСТ, не может существовать какого-то готового, финального знания, которое можно сравнить с самим феноменом на предмет соответствия. Имеют место постоянно подсоединяющиеся друг к другу последовательности восприятий, опытов. А то, что мы считаем некоторым финальным образом объекта восприятия, – это всего лишь результат «ретроактивной коррекции» (Г. Башляр). Латур использует прагматистскую теорию истины У. Джеймса⁷⁸. Корреспондентская же (= телепортационная) теория истины исходит из *одновременной* данности двух полюсов: субъекта (первого определения) и корреспондирующего ей и *уже* всесторонне данного объекта. В этом смысле эта теория никак не учитывает фактор времени и вытекающей из него принципиальной неполноты знания. Знание являет собой некий «путь объективности» (У. Куайн), но чтобы этот путь был направлен согласно означенным векторам, требуется *сеть*, состоящая из нитей и узлов. Лишь в этом случае наше познание будет сколько-нибудь прочным и в

⁷⁸ Допустим, нам явлен неясный образ пушистого зверя, а потом по мере приближения мы распознаем образ собаки и решаем, как будто бы она уже присутствовала и была распознана раньше – как объект, известный субъекту. На самом же деле этот финальный образ был сконструирован ретроспективно или ретроактивно так, *как будто* он уже был воспринят заранее.

эту сеть можно будет «поймать» значимое знание и, как следствие, преодолеть радикальный разрыв между знанием и миром, словом и вещью – разрыв прежде всего в практиках их существования: ведь в одном случае речь идет о субсистенции (самореплицировании, самокопировании изучаемых объектов), в другом – о референции, указании на иное. «Нить познания» в случае исследовании лошадей предстает как последовательность исследовательских операций: раскоп, транспортиция, чистка, описание, классификация, составление скелета и т. д. И эта последовательность радикально отлична от «нити эволюции» самих исследуемых животных: борьба за выживание, скрещивание, размножение.

И все-таки, как уже упоминалось, в некоторых регионах осуществляется *сцепление этих эволюционных линий или нитей*, которые способны образовать некие узлы сетей, в которых связываются конкретный модус существования (субсистенции) лошади (например, фрагмента скелета) с нитью опытов палеонтолога-гипполога.

Так, акторно-сетевой подход убеждает нас, что научное знание все-таки способно сохранить автономию, поскольку имеет собственные векторы и внутренне согласованно наподобие знания математического. Оно лишь отчасти определяется внешним образом и лишь отчасти определяется характером (эволюцией) объектов самих по себе. При этом именно за счет своей автономии оно все-таки способно «встретиться» с реальностью, наподобие того, как разные геометрии «встречаются» с разными пространствами. Именно реальность все-таки *в некоторые узловые моменты или точки сопряжения* выступает – пусть ситуативным – *стабилизатором знания*, ограничивает его от случайности и избавляет его от парадокса “anything goes”.

Научное знание как выражение когнитивных ожиданий

И все-таки воспроизведенное выше отношение между когнитивными и нормативными отношениями к реальности представляется несколько более сложным, чем требование *нормативного общественно-политического контроля* над когнитивным поведением ученых (выдвинутое STS). Неочевидным представляется и требование отказаться от этого контроля в пользу *сетевой стабилизации* знания за счет введения не-человеческих акторов: гравитации, микробов, лошадей и т. д. (выдвинутое АСТ).

Программы STS в существенной степени опираются на нормативную модель научной коммуникации. В интерпретации STS дело выглядит так, как будто научные суждения имеют дело (не только и исключительно) с *переживаниями* (= интерсубъективно удостоверяемыми восприятиями) ученых, в которых внешний мир науки дан принудительно и универсально. Научные суждения, в интерпретации STS, имеют дело скорее *действиями и решениями*, а значит – требуют субординации действий, где одно действие вызывается другими действиями на основе коллективной обязательности, власти, т. е. нормативных, а не когнитивных ожиданий, предполагающих принципиально иной формы (добровольной!) принудительности, опирающейся на общности (интерсубъективности) восприятий ученых. С нашей точки зрения такая редукция научного знания к действиям не выдерживает критики, поскольку предполагает редукционизм, сводя науку к принципиально иным формам (политической и правовой) коммуникации. Ведь в рамках политики и права всякое действие – на основе медиума власти – требует субординации действий *безотносительно переживаний*

действующих лиц. Научное же знание, напротив, предполагает когнитивные реакции на разочарования в ожиданиях, в то время как все остальные типы (нормативного) знания предполагают лишь укрепление нормы в случае разочарования в ожиданиях. Разочарование в науке, в отличие политики и права, не укрепляет норму за счет элиминации источника аномии (*репрессивное право*), не компенсирует и восстанавливает «поврежденный» разочарованием порядок, а ставит дилемму выбора между нормой и противоречащим ей действием. В случае разочарования в ожиданиях в научной коммуникации ставится вопрос о том, что же в таком случае является неправильным, ложным, заблуждением: само правило, норма, закон, обобщение или противоположное им действие? Система коммуникации оказывается перед выбором в вопросе о том, что привело к фиаско тех или иных ожиданий: либо не адекватна норма (научный закон или теоретическое положение), либо не соблюдены условия эксперимента (испортилась лакмусовая бумажка), а регулярность следует оставить в силе (тезис Дюгема-Куайна).

В этом случае в научной коммуникации парадокс *anything goes* разрешается путем различения нормативных и когнитивных реакций на разочарования в норме. Знание, таким образом, выступает неслучайным следствием выбора между возвращением к норме (право и политика) и ее когнитивным преодолением (наука). В этой связи рассмотрим более подробно возможности системно-коммуникативной концептуализации научного знания и те преимущества, которые такое понимание дает нам в сравнении с подходами STS и ACT.

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ В РАСХОДЯЩИХСЯ ПЕРСПЕКТИВАХ НАУЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

В этом разделе мы обращаемся к вопросу о социальном характере знания, т. е. о том, возможно ли рассматривать научные исследования как обычную коммуникацию. Ведь всякое новое научное достижение не только является некоторым знанием, но и некоторым запросом на контакт, предложением общения, приглашением к дискуссии требует проверки другими исследователями, а значит, и продолжения общения и образования коммуникативной системы. Если же исходить из различения наблюдательных перспектив и различий в средствах (медиа) наблюдения, то возникает проблема: как согласовать такие расходящиеся перспективы? Есть ли нечто общее в дивергирующих смыслах, атрибутируемых научным понятиям (неизменной массе Ньютона и зависящей от скорости массе Эйнштейна)?

Здесь мы также подходим к ключевому для нашего исследования тезису о том, что при анализе научного знания (научных объяснений, специфичности научных законов в их отличии от акцидентальных генерализаций, как и

в вопросе о критериях и оценках лучших или предпочтительных теорий и лучших понятий) должен быть предварительно осуществлен анализ «естественной» коммуникации и прежде всего анализ процесса естественного понимания, а также тех повседневных установок, которые обеспечивают это понимание, включая сюда особые средства коммуникативных (повседневных) подтверждений и убеждений.

Лишь такой анализ «естественных идеалов хода вещей» дает ключ к анализу научного знания, в отношении которого пора отказаться от наивной установки, что сам предмет должен продемонстрировать истинность высказываний по его поводу и навязет правильное понимание. Предметное измерение научной коммуникации должно быть дополнено социальным измерением, а также временным!

В этой связи мы формулируем социозпистеомологический тезис, что коммуникативные стратегии как в повседневном общении, так и в научных обсуждениях по своей коммуникативной структуре (как последовательность этапов сообщение-информация-понимание) остаются идентичными. Означенные стратегии могут быть удачными только в том случае, если они обеспечивают конечное понимание (как завершение элементарного коммуникативного цикла) и, как следствие, акцептацию запросов на контакты.

Требования понимания как экстерналистский фактор научного познания

Возможно ли рассматривать научные исследования, в особенности высокоабстрактные теоретические построения, как обычную коммуникацию обычных людей,

каковыми, безусловно, остаются ученые – при всей их отличительности в эрудированности, образовании и установках?⁷⁹ Ведь каждое новое теоретическое предложение, скажем, математическая теорема является не просто математическим предложением⁸⁰, но и некоторым запросом на контакт. Как раз в этом смысле нас будет интересовать сходство в процессе понимания, с одной стороны, повседневных «коммуникативных актов», с другой стороны, научных высказываний и научных объяснений. Мы пробуем объяснить генерацию и обоснование научного знания, имеющего своим источником свойства самого общения ученых, пусть даже свои высказывания, они, как им кажется, основывают на объективности предметных описаний и наблюдений.

Одновременно мы попробуем обосновать и второй социоэпистемологический тезис. Социальную реальность (общество, действия, коммуникации) следует по-

⁷⁹ Конечно, в качестве такого исследования можно рассмотреть Гуссерлевский проект феноменологической редукции явлений к структуре чистого сознания, где под последней могли пониматься и научные идеализации, от которых, по мнению мыслителя, неплохо бы вернуться назад «к вещам» и «жизненному миру». Но речь у Гуссерля идет о структуре (потока) сознания (и даже, скорее, восприятия как условия для формулирования научных понятий), а вовсе не о структуре *общения*). «Мир, как он “реально существует” на деле, есть продукт конструктивного теоретизирования, исходным материалом которого являются объекты и смысловые связи повседневного опыта – жизненный мир. В то же время в ходе развития современной науки и ее философско-методологического осмысления значение жизненного мира как предпосылки и основания науки было забыто и мистифицировано» (*Филатов В.П. Естествознание и «жизненный мир»: проблемы феноменологической интерпретации точных наук // Вопр. философии. 1979. № 4*).

⁸⁰ Уже языковая интуиция указывает на тождество омонимов «предложения» как высказывания и «предложения» как предложения к совместному решению.

нимать как «стандартный» предмет научного исследования, пусть, безусловно, и выдающийся специфичность, но тем не менее принципиально допускающий стандартные процедуры научных описаний, измерений, наблюдений, каузальный анализ, формализацию и теоретизацию. В сочетании с первым тезисом второй тезис требует представлять науку как особую наблюдающую и коммуницирующую систему, обусловленную двояким образом: (1) определяемую как свойствами самой наблюдаемой реальности, предметами научных наблюдений, так и (2) свойствами наблюдателя, т. е. свойствами научного общения, которые, в свою очередь, эксплицируются самой наукой. В этом случае и сам этот наблюдатель, и наблюдение (= общение ученых, научная дискуссия) выглядели бы столь же доступными для полноценного научного анализа, как и предметы, наблюдаемые в ходе этого общения. Причем именно социоэпистемологическая фиксация такого добавочного фактора в генерации и обосновании научных идей делает возможным (хотя бы для некоторых целей анализа) выносить этот фактор за скобки и в каком-то смысле очерчивать рамки гипотетической «чистой науки», свободной от «возмущающих воздействий» наблюдателя (т. е. от свойств самого обсуждения, самореференции).

Итак, мы предлагаем такое понимание научной коммуникации, в котором последняя объяснялась бы не только внутренним образом, т. е. исходя исключительно из предмета научного интереса (внешнего мира научной системы коммуникации), но и добавочным образом детерминировалась бы ситуацией самого общения, а именно требованиями понимания (или понятности предлагаемых идей), условиями взаимопонимания (или консенсуса в среде ученого сообщества), которые, очевидно, выглядят

дополнительными по отношению к главному условию научности: истинности, непротиворечивости теоретических суждений, наблюдаемости вытекающих из теории практических следствий.

Впрочем, этот список добавочных условий научности следует дополнить и требованиями научного приоритета, научной честности (*scientific self-policy*), имеющих явный экстерналистский (коммуникативный) характер, не связанный очевидным образом с истинностью и новизной научных идей. Всякий раз, когда мы будем сталкиваться с такой сверхдетерминацией в генезисе научного знания, всякий раз, когда истина и новизна как ведущие мотивации научного исследования будут дополняться перечисленными дополнительными («экстерналистскими», социальными) каузациями, мы будем говорить о социо-эпистемологии.

Об универсальном понятии понимания

Этот подход заставляет отказаться от ставшего обычным различия *объяснения*, имеющего дело якобы исключительно с научными законами и воспроизводимыми наблюдениями, и понимания, характерного для повседневного общения, предполагающего вчувствование или реконструкцию скрытого субъективного смысла действий или их мотивов. Такое различие, конечно, можно проводить, но проистекает оно не из специализации научной коммуникации, будто бы требующей особых форм обоснования — объяснений. Объяснение является условием понимания, где бы последнее ни осуществлялось. А если такого объяснения не требуется, значит, оно принимается молчаливо и просто не требует вербализации.

Так, я понимаю (= объясняю себе), почему, стоя перед дверью, человек роется в кармане. Он ищет ключ. Для понимания этого обстоятельства мне не только приходится конструировать интерсубъективный смысл или мотив данного действия, общий для меня и другого в смысле А. Шюца или М. Вебера. Мне требуется полноценное рациональное объяснение, способное принимать и гемпелевскую форму *генерализаций* и *антецедентов*⁸¹ (подробнее см. ниже). Очевидно, что понимание и в повседневности основано на объяснении.

Впрочем, с другой стороны, и в отношении научных теорий, законов и наблюдений нам не избежать определенных требований к пониманию. Ведь ученые как минимум должны понимать обращенные к ним суждения коллег. Понимание в этом смысле непременно представляет собой некоторый промежуточный этап и итог коммуникации, зависящий от некоторого контекста: например, личностных свойств участников коммуникации, конкретной ситуации, а также известности этих обстоятельств коммуникации участникам общения. Я понимаю адресованную мне коммуникацию, если фиксирую связь (или различие) между (1) данным явно и отчетливо (и в этом смысле объективным и даже – материальным) сообщением, в фактичности которого не приходится сомневаться, и (2) извлекаемой из него информации, которая является моим личным достижением и моей личной реконструкцией интенций, скрытых от меня в сознании моего партнера.

Итак, понимание – это сравнение *фактического* и *латентного* на предмет их соответствия (или несоответствия). Мы говорим о понимании в тех случаях, если речь

⁸¹ 1. Если X роется в кармане перед закрытой дверью, то он ищет ключ. 2. А роется в кармане перед закрытой дверью. 3. Заключение: А ищет ключ.

идет о фиксации различия (1) явных и очевидных слов сообщения и кроющихся за ними мотивов сообщаемого, (2) о различении данных с очевидностью синтаксических форм и многообразия их семантик, различении означающего и означаемого, одним словом – о различии между самореференцией (тем, что в коммуникации относится к самому обсуждению) и инореференцией (т. е. тем, что в коммуникации относится к теме обсуждения, т. е. к внешнему миру коммуникации)⁸². И если такое различение осознано участником, предложение коммуникации может быть не только понято, но и исходя из этого понимания принято (или непринято), что становится условием продолжения обсуждения и образования системы. Только благодаря пониманию возникает воспроизводящаяся система коммуникаций, ведь именно понимание провоцирует следующее сообщение, извлечение информации и следующее понимание (полный коммуникативный цикл).

Понимание, таким образом, всегда предполагает фиксацию различения явного (сообщения) и скрытого, которое должно быть «добыто» и «извлечено» из некоторого довольно широкого контекста (прежде всего знания личности говорящего, ситуации, пространства-времени, в котором сообщение произнесено).

Правда, и *объяснение* апеллирует к контексту. Но этот контекст гораздо менее ситуативен, всегда абстрагирован от конкретных места и времени коммуникации, а также от свойств общающихся лиц. Объяснение – это некоторая редукция объясняемого явления к ранее известному, но

⁸² Понять высказывание «идет дождь» – значит подобрать к этому сообщению соответствующую информацию, т. е. решить, какой смысл *в большей степени* ему соответствует – утверждение о погоде (о внешней для коммуникации реальности – инореференция) или мотивирование собеседника остаться дома (вывод о характере самого обсуждения – самореференция).

главное – к воспроизводимому и повторяющемуся из раза в раз. Это известное часто (например, в схеме причинного объяснения К. Гемпеля⁸³) представляет собой некоторое условное или контрфактическое утверждение («если X, то Y»), дополненное указанием на прошлое событием А (антецедент) из множества X, которое объясняет событие В (эксплананс) из множества Y.

Объяснение, таким образом, представляет собой не-который в большей степени *объективированный итог предшествующих коммуникаций* (в которых из раза в раз уже фиксировалось некоторое обобщение). Объяснение принимает форму объективного суждения, более не зависящего от структуры коммуникации, от коммуникативного контекста и знания участниками личностных свойств других участников, которые в случае понимания помогают участникам коммуникации различить и реконструировать латентные смыслы суждений в их синтаксических формах – вполне очевидных. Объяснение в большей степени ориентировано на синтаксис и форму, чем разнообразие возможных семантик и контекстов.

Но зададимся вопросом, действительно ли в отношении научных фактов и регулярностей (как это имеет место в гемпелевском объяснении) нам непременно следует дистанцироваться от характера обсуждения проблемы, от свойств самого обсуждения? Если понимание в нашем смысле (как сравнение синтаксической формы суждения и семантики) есть фундаментальное и универсальное свойство всякой коммуникации, то *коммуникативный характер науки* в свою очередь должен был бы выказывать эту зависимость. И действительно – в науке мы тоже име-

⁸³ *Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation // Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. N.Y., 1965.*

ем дело с пониманием, например, когда сравниваем (логические) формы высказываний и отвечающие им множества значений или референтов. Обратимся к примеру Гемпеля⁸⁴, который мы применим к случаю понимания.

Понять утверждение (1) «все вороны – черные» – значит, во-первых, разобраться с тем, как обстоит дело с *формой суждения* (т. е. с самим сообщением или синтаксисом). Так, на этой стадии выясняется, что синтаксически первая форма эквивалентна двум другим, а именно: (2) «если не черный, значит, не ворон», (3) «или ворон, или не черный»). Пока мы имеем дело исключительно с синтаксисом. Выбор нужного варианта синтаксической формы делает возможным обращение к соответствующему множеству референтов (т. е. выбор семантики), а именно: или (1) черных воронов, или (2) белых перчаток, (3) черных ботинок. Так, мы можем перебирать черных воронов в поисках нечерных экземпляров (первая форма) или перебирать нечерные предметы в поисках нечерных воронов (вторая форма). Мы *понимаем*, если имеем возможность соотносить *форму* (синтаксис) и ее значения (множества объектов), пока не встретим несоответствий, противоречий или аномалии – белого ворона.

И если обнаруживается *непонимание*⁸⁵, это явление можно назвать аномалией в куновском смысле слова. Аномалия не вписывается в известные, утвердившиеся регулярности. Таковым, например, является утверждение о существовании «яйценесущих млекопитающих». Ученый словно не понимает, как такое возможно, ведь это

⁸⁴ Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation. P. 3–45.

⁸⁵ Непонимание выступает в двух смыслах: как неспособность соотносить суждение (понятие) и его смысл (когда мы не понимаем, почему мы не понимаем), и как фиксация некоторой аномалии, т. е. случая, противоположного утвердившейся в научном обиходе генерализации (белый ворон).

противоречит ранее утвердившимся и регулярно воспроизводимым наблюдениям, которые приняли форму эмпирического закона. Также и данные об орбите движения Меркурия вступили в противоречие с законами Ньютона и оказались непонятными ученому.

Непонимание (аномалия) может привести к разрыву общения точно так же, как это имеет место в повседневной коммуникации. Фиксация аномалии в некоторых случаях приводит к отказу от утвердившихся регулярностей или закономерностей. Если ученый не понимает, как аномалия *встраивается в законы*, то зачастую предметом отклонения может оказаться и сама генерализация, что предполагает разрыв коммуникационных связей с сообществом ученых, придерживающихся этих «устаревших» генерализаций или парадигмы. Этот – относительно свободный – выбор ученых между сохранением аномалии за счет отказа от признания генерализаций или сохранением генерализаций за счет нейтрализации аномалии является универсальной характеристикой коммуникации и представляет собой частную форму конфликта когнитивных и нормативных ожиданий: разочарование в ожиданиях всегда приводит либо к утверждению новой информации за счет отказа от нормы, либо к утверждению (и даже – укреплению) нормы за счет нейтрализации аномального. Специфичность научной коммуникации, как показала полемика К. Поппера и И. Лакатоса⁸⁶, пожалуй, состоит лишь в том, что в науке опровержение (разочарование в норме) не всегда означает отклонение опровергаемого. Так, наблюдение того, что движение Меркурия опровергает и фальсифицирует законы Ньютона, не привело к отказу от ньютоновской механики. В науке нет такой

⁸⁶ *Лакатос И.* Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 221.

срочности в принятии решения по поводу альтернативы действующей *нормы* и девиантного, как это имеет место в правовой или политической коммуникации. И именно потому, что нормативные и когнитивные ожидания в научном общении уравновешены, а разочарования в норме (генерализации) в некотором смысле институционализированы и парадоксальным образом оказываются ожидаемыми и даже желанными.

Итак, мы пришли к выводу, что понимание и непонимание имеют *универсальный* характер, свойственны научной коммуникации, поскольку последняя (помимо специфических) выказывает и универсальные свойства общения.

Наблюдение и объяснение в науке и повседневности: релятивизм

Но как же обстоит дело с объяснением? Свойственно ли последнее исключительно научному дискурсу или может равным образом применяться к объяснению человеческого поведения и общения? И есть ли существенные различия между объяснительными процедурами в науке и объяснением в повседневной жизни? В классической форме проблема объяснения была поставлена Гемпелем и Оппенгеймом. Задаться вопросом о том, почему случилось некоторое событие, равнозначно вопросу о том, в какие законы вписан этот случай и какие предшествующие обстоятельства его вызвали⁸⁷.

⁸⁷ Почему погруженное весло выглядит согнутым? Объяснение предполагает, что, во-первых, мы подбираем релевантные законы (закон рефракции, а также общее утверждение о том, что *вода плотнее воздуха*). Во-вторых, мы фиксируем предшествующие об-

Но является ли такой путь объяснения исключительным достижением научной коммуникации или же оно является общим свойством общения людей? Как, например, объяснить и, следовательно, понять социальное действие? Применительно к социальному действию можно ли дать объяснение через генерализацию и предшествующее условие? Например, наблюдатель может объяснить действие лесоруба, вписав его в некоторую *генерализацию*: если требуются дрова для строительства или отопления, лесоруб рубит дерево. *Антецедент*: лесоруб нуждается в дровах для отопления. *Эксплананс*: лесоруб рубит дерево. Это обобщение (как минимум для наблюдателя действия) выступает аналогом научного обобщения.

Гемпелевское представление о научном объяснении подразумевало однозначную связь между генерализацией и наблюдениями (антецедентом и экспланансом), которые подводились под такое обобщение.

Однако однозначность такой зависимости была поставлена под вопрос (П. Фейрабенд). В известном примере Фейерабенда (в его первой научной статье «Попытка реалистической интерпретации опыта»⁸⁸) рассматриваются наблюдаемые цвета светящихся объектов (их объективные свойства – P1, P2, P3), которые соответствуют словам языка: *красный, белый, синий*. Наблюдатель может использовать эти слова независимо от того, наблюдает он эти свой-

стоятельства (антецедент): что весло на самом деле является прямым и что погружено в воду под определенным углом. Отметим несоизмеримость этих двух условий. Ведь одно из них указывает на конкретную временную каузальность *здесь и сейчас*, а другое – на идеальную, контрфактическую, абстрактную модель, которую и описывает – вечный! – закон.

⁸⁸ *Feyerabend P.K. An Attempt at a Realistic Interpretation of Experience // Proceedings of the Aristotelian Society. 1957–58. Vol. 58. P. 143–170.*

ства или нет. Но наблюдатель второго порядка⁸⁹, например ученый, наблюдающий и светящийся объект, и первого наблюдателя, способен зафиксировать зависимость изменения цвета от скорости движения источника света по отношению к наблюдателю. Т. е. с точки зрения наблюдателя второго порядка, цвет объекта уже не является некоторым стабильным, объектным свойством, но оказывается характеристикой отношения *наблюдатель/объект*. О свойствах объектов самих по себе (недоступных наблюдению, вписываемого в ту или иную генерализацию), говорить, с точки зрения Фейерабенда, бессмысленно.

В этом смысле язык наблюдателя, объяснение и понимание наблюдаемых свойств определено теоретизацией второго порядка, т. е. некоторой более высокой инстанцией суждения, которая способна выбирать между различными теориями и соответственно различными языками. В целом, эта идея Фейерабенда ставит под вопрос общую интуитивную предпосылку в интерпретации объяснения. А именно, то представление, что объекты с воспроизводимыми свойствами, объективные наблюдения должны служить основанием объяснения, так сказать, общим полюсом, с которым вынуждены соглашаться все наблюдатели и который служит основой научной intersubjectивности (предметное измерение коммуникации). Теперь объектные свойства вещей нельзя рассматривать как непреложный аргумент (Витгенштейн), к которому следует апеллировать в споре. Наблюдательные высказывания теперь не могут зависеть от единой, выделенной, индивидуальной позиции наблюдателя, так как всегда может обнаружиться и другой наблюдатель, который бы фиксировал *контингентность* связи *наблюдатель-объект*.

⁸⁹ Вводя фигуру наблюдателя второго порядка, мы модернизируем пример Фейерабенда.

Правда, эта связь между генерализацией и наблюдением не так проста и в случае объяснения обычного поведения. Действительно ли теория (некоторое множество генерализаций) в этом случае однозначно определяется наблюдаемыми свойствами? В приведенном выше примере с лесорубом наблюдатель может интерпретировать действие лесоруба и как рубку для отопления, и как рубку ради физического упражнения. Этот анализ зависит от того, в каких системных отношениях находятся наблюдатель и исполнитель действия, связаны ли они общей деятельностью или же являются независимыми друг от друга действующими. Наблюдатель повседневности характеризует свои объекты наблюдения, исходя из собственных «теорий» (генерализованных различий), определяемых принадлежностью к некоторой социальной позиции, принадлежности к некоторой обособленной коммуникативной сфере⁹⁰.

Такое представление о *релятивности* свойств действий (и других форм социальности) можно понимать как частный случай общей установки современной философии науки в вопросе о «паразитировании» фактов над теориями (Фейерабенд).

⁹⁰ Так, для священника все человеческие действия подразделяются на греховные и свободные от греха. И в этом смысле он использует генерализацию, согласно которой все существа делятся на греховных и безгрешных (людей и ангелов). Врач же будет склонен подразделять все человеческие действия на полезные и вредные для здоровья. И здесь определяющей классификацией является генерализованная дистинкция *болезнь/здоровье*, характеризующая именно наблюдательную позицию врача. Одно и то же действие – например, принятие мясной пищи во время поста – будет рассматриваться как *полезное/вредное* или как *греховное/не-греховное*. У действия тоже не может быть «объективных» свойств, независимых от наблюдательных перспектив, в которых оно может рассматриваться.

Социоэпистемология может позаимствовать этот общий тезис Фейерабенда. Всякое наблюдаемое явление дано с помощью посредника – след (дым от огня, след в пузырьковой камере). Граница между наблюдаемым и ненаблюдаемым постоянно *осциллирует* – в зависимости от контекста наблюдения. То, что в одном (теоретическом) контексте является наблюдаемым (например, вирус в результате подсоединения к нему тяжелых молекул), в другом контексте может рассматриваться лишь как заместитель или *представитель* наблюдаемого. Для принятия решения о том, наблюдаем мы что-то действительно или скорее нет, мы должны определиться с тем, в контекст какой дистинкции мы помещаем данное наблюдаемое явление⁹¹. Так, вирус под электронным микроскопом⁹² мы будем склонны рассматривать как сам по себе недоступный для наблюдения в сравнении с алмазом, помещенным под электронный микроскоп. Ведь мы в последнем случае действительно *видим* фактическую микроструктуру алмаза, тогда как то, что мы фиксируем в качестве вируса, является структурой присоединившихся тяжелых молекул, не являющихся действительными составляющими вируса. Однако в отличие же от наблюдений небесных объектов посредством радиотелескопа означенный вирус под электронным микроскопом скорее можно рассматривать как наблюдаемый, поскольку форма присоединившихся к вирусу тяжелых молекул изоморфна форме самого вируса, тогда как данные радиотелескопа не являются такого рода *аналоговым изображением*.

⁹¹ Питер Ахинстайн называет это «контрастом», см. следующую сноску.

⁹² Пример предложен Питером Ахинстайном: *Achinstein P. Concepts of Science*. Baltimore, 1968. P. 160–172.

Другими словами, за каждым наблюдаемым объектом обнаруживается структура дистинкций, контраст, ранее созданные классификации. Мы не можем договориться о том, что наблюдаем одно и то же, пока не договоримся, что используем общую «оптику».

Понимание как предсказание в законах-индикаторах: закон и реальность

Гемпель признавал, что существует разновидность генерализаций, например «законы-индикаторы» (indicator law), функция которых прямо не связана с пониманием и объяснением. Никакая подстановка наблюдений под такие законы не содействует объяснению. Гемпель приводит пример таких индикаций⁹³:

1. Все пациенты с пятнами Коплика на слизистой щек оказываются больными корью.

2. У Джонса выступили пятна Коплика.

3. Джонс болеет корью.

Очевидно, что первое утверждение является генерализацией, в которую осуществляется подстановка утверждений-наблюдений. Но эксплананс (болезнь) очевидно не получает здесь объяснения, т. к. такое объяснение должно апеллировать к некоторому прошлому, причинным образом объясняющему настоящее наблюдение (пятна Коплика не являются причиной кори). Напротив, антецедент (пятна Коплика) является *индикатором* и *предсказанием будущей* болезни. В этом случае мы понимаем будущее, поскольку видим его приметы в настоящем. И мы

⁹³ *Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation // Hempel C.G. Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science. N.Y., 1965. P. 375.*

понимаем настоящее, поскольку способны установить его референцию к будущим событиям. Такая *не объясняющая, но предсказывающая* теория не описывает реальных импликаций. Но ведь законы и не должны описывать реальность, а представляют ее некоторую идеальную модель. Это отношение подводит нас к классическому философскому вопросу реальности и форм ее презентации (моделированию, отображению и т. д.). Причем этот вопрос может быть поставлен и в отношении *социальной реальности*. Рассмотрим более подробно отношение теоретической модели и означенных реальностей.

Считалось очевидным, что объяснение подразумевает реконструкцию импликаций, существующих в самой природе. Так, согласно закону идеального газа повышение температуры имеет своим следствием увеличение давления. Но чем удостоверено теоретическое описание, если оно описывает всего лишь поведение идеальной модели? Уилфред Селларс утверждал, что связь между моделью и реальностью состоит в том, что модель при некоторых условиях и *тождественна* таковой реальности. Так, например, кинетическая теория объясняет, почему газ при умеренном давлении подчиняется закону $PV/T=k$. «Газ при умеренном давлении, – пишет Селларс, – действительно идентичен модели идеального газа – облаку молекул – точечных масс, на которых не сказывалось воздействие межмолекулярных сил»⁹⁴. Повышение давления приводит к увеличению расхождения реальности и модели, но это расхождение может быть «исчислено» именно потому, что мы обладаем некоторой базовой идеально-реальной моделью. Этот пример показывает, что соответствие абстрактных описаний и

⁹⁴ Sellars W. The Language of Theories. Readings in the Philosophy of Science. 1989. P. 345.

реальности возможно потому, что реальность – пусть лишь в некоторых случаях – «ведет себя», точно соответствуя своему описанию.

Этот же вопрос можно поставить применительно к описанию коммуникации. Ведет ли себя общество в некоторых случаях как точно соответствующее своей идеальной модели? Насколько реальными могут быть общественные идеалы? Или нормы и ценности как некое нормативное описание предполагают идеализированность и, как следствие, несоразмерность социальной реальности. М. Вебер, как известно, в качестве таких дескриптивных ресурсов использовал так называемые идеальные типы. Социальное действие в контексте такой идеальной типизации характеризовалось как целерациональное, ценностно-рациональное, эмоциональное и традициональное. Такого рода типизация помимо чисто дескриптивных целей исторического анализа эволюции типов помогала уточнить и понятие понимания. И действительно, мы способны понять некоторого Другого в том случае, если локализуем его действие в измерении соответствующего идеального типа, который таким образом выступает одновременно и как некоторая генерализация, и как причина действия. Так, в тривиальных случаях мы способны понять преступление, если объясняем его состоянием аффекта, а понять революционные действия можно, указав на приверженность их адептов ценностям справедливости. Но этот же инструмент допускает и фиксацию отклонений от заданных стандартов. Так, мы фиксируем смешанные типы, где целерациональное поведение ученого, проводящего научное исследование, может отклоняться от стандартов таковой рациональности, получая аффективную мотивацию (любопытство, жа-

жда успеха, честолюбие). Другими словами, мы всегда констатируем приближение к некоторому идеалу поведения, который мы можем понять с нашей собственной позиции. Как всегда – *понять* такого рода поведения и действия мы можем, лишь *сравнив* на предмет адекватности фактические действия и генерализации, которые его описывают. Вопрос состоял лишь в качестве таких генерализаций. Все ли они могут быть приняты в качестве такого рода средств понимания и объяснения? И – применительно к социальной реальности – всегда ли существует возможность зафиксировать «чистое» рациональное, поведение, полностью соответствующее идеально-типической модели целерациональности и лишенное примесей всех иных мотиваций? Для ответа на этот вопрос (о качестве генерализаций и о возможности их чистых форм фактического выражения в реальности) приходится обращаться к классической проблеме *подтверждения* обобщений или законов.

Проблема подтверждения: контрфактические и акцидентально-истинные обобщения

Ища взаимопонимания путем убеждений других, мы привлекаем аргументы, подтверждающие наши утверждения. В такого рода коммуникации редко используются доводы, которые одновременно подтверждали бы одновременно и очевидные, и явно абсурдные утверждения. Это сделало бы понимание невозможным. Однако с точки зрения строгой научной логики, формально-логического синтаксиса такая процедура подтверждения оказывается почти неизбежной. Именно на это свойство логического подтверждения генерализаций указал

Нельсон Гудмен⁹⁵. Так, наблюдение «изумруды – зеленые» подтверждает не только эмпирическое обобщение «все изумруды зеленые», но и странную генерализацию «все изумруды зелесиние», где предикат *зелесиние* обозначает свойство *быть зелеными* во время наблюдения, а в ненаблюдаемом состоянии *быть синим*.

Эта возможность продемонстрировала сомнительность до сих считавшегося самоочевидным критерия Жана Жоржа Пьера Никода⁹⁶. Выяснилось, что существуют логически обоснованные подтверждения «непонятных» обобщений, «закономерность» которых противоречит нашей интуиции.

Как же отличить подлинно научные обобщения от разного рода «акцидентальных генерализаций», вступающих в противоречие с нашей интуицией? Идея Гудмена состояла в том, что следует различать между «законоподобными» и «акцидентальными» обобщениями, которые бы учитывали пространственно-временной контекст значений этих обобщений. Ведь утверждение о том, что лед плавает в воде, применимо и к другому льду, и другой в воде, и в прошлом, и в будущем, и в данной точке пространства, и в соседней, причем обусловлено не случайным и уникальным стечением обстоятельств, а неким глубинным, внутренним, структурным основанием, к ко-

⁹⁵ Гудмен Н. Новая загадка индукции // Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров / Пер. с англ. А.Л. Никифорова. М., 2001. С. 73–74.

⁹⁶ Критерий Никода состоит в том, что подтверждение генерализации должно осуществляться подстановкой только позитивных суждений, т. е. суждений о тех объектах, о которых идет речь в генерализациях, а не других. Генерализация *все вороны черные* подтверждается наблюдениями воронов, но не других предметов. См.: Eells Ellery. Confirmation Theory. Nonprobabilistic approaches // The Philosophy of Science. An encyclopedia. Taylor & Francis, 2006. P. 146.

тому следует редуцировать такую «поверхностную» генерализацию. То, что один кусок льда плавает, связано с тем, что плавает другой, тем что все они обладают меньшей плотностью, чем вода. Напротив, суждение *этот изумруд является зелесиним* не подтверждает утверждение о том, что и другой такой же объект (в иных пространствах и временах) выказывает то же свойство.

Очевидно, что понимание свойств и событий через учет регулярностей или законов может обеспечиваться, если законы будут подтверждены в их универсальности. Но обычное подтверждение позитивными примерами теперь выглядело сомнительным. Однако то, что для развитых научных дисциплин выглядело достаточно скандальным, в проблематических науках, в особенности в исторических, но также и географии, являлось вполне обычным. Это касалось различия между уникальными социальными констелляциями (историческими эпохами, своеобразными культурами) и научными формализациями, описывающими нечто инвариантно воспроизводящееся. Для обозначения первых Г. Риккерт вводит термин «идеографические» описания. «Мы исходим из того, — пишет Риккерт, — что есть граница всякого естественнонаучного образования понятий, т. е. из индивида в самом широком значении слова, в котором (значении слова. — А.А.) оно обозначает всякое возможную как угодно уникальную и особенную действительность»⁹⁷.

И далее: «...понятия о причинах в естественнонаучных каузальных законах не только общи, но зачастую и какой-либо естественнонаучный каузальный закон сам называется причиной. Так, например, утверждается, что

⁹⁷ Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 303.

закон падения есть причина ускорения падающего тела. ...Итак, если естествознание может рассматривать закон падения как “причину” ускоренного движения падающего тела или даже закон тяготения как причину закона падения, так как оно всегда имеет в виду связывать друг с другом лишь общие понятия, в исторической науке всякая попытка признавать при выражении какой-либо однократной индивидуальной связи действующими причинами общие понятия или каузальные законы лишила бы нас возможности понять исторический процесс, так как вместо познания того, что некогда действительно было причиной, и действия, к которому мы стремимся, мы получали бы лишь общие отвлечения в понятиях и никогда не могли бы показать, благодаря чему произошли исторические события»⁹⁸.

При более внимательном анализе выясняется, однако, что такие *исторические констелляции* не столь уж уникальны (ведь всегда есть возможность обобщить человеческое действие, сведя их к общему мотиву – «интересу эпохи» – М. Вебер), а научные «законообразные» обобщения не находят абсолютных логических подтверждений и, как следствие, требуют обращаться к уникальному – некой индивидуальной традиции (“track record”) использования соответствующих слов или предикатов, лишь некоторые из (“entrenched predicates” – «зеленые», а «зелесинии») которых должны быть востребованы в научном предприятии.

Итак, научная формализация в некоторых случаях может быть почти лишена конкретных (содержательных) пространственно-временных референций. Псев-

⁹⁸ Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1997. С. 331.

донаучные (случайно-истинные) генерализации чаще всего указывают на конкретные и уникальные регионы пространства и времени («Все мужчины в этой комнате – третьи сыновья»). Но как быть с тем, что очевидно научные законы могут выказывать те же свойства (Законы Кеплера предполагают конкретные пространственные временные референции – описывают конкретные формы движения по конкретным орбитам планет вокруг Солнца).

Приходится признать, что в этом смысле и естественнонаучные теоретические описания, и описания самых разных форм повседневности и социальности, и исторические описания могут быть в равной мере и обобщающими (номотетическими), и уникальными (идеографическими). Даже и в обычном общении «акцидентальные генерализации» (например, «все собравшиеся сегодня здесь – мужчины»⁹⁹), *обобщающие* уникальные ситуации или конstellляции событий, уместны и понятны.

Всякая история того или иного сообщества уникальна, концентрирует вокруг себя специфические «интересы эпохи» и благодаря этому придает смысл (и в этом смысле – *обобщают*) человеческим действиям. Именно эта (уникально-обобщающая и обобщающе-уникальная) характеристика сообществ, образующих свою уникальную историю, требует идеографических типов описания в смысле Риккерта. Понять человеческое действие – значит соотнести действия с такими уникальными и «*всеобщими* (!) ценностями культуры» – религиозными, государственными, правовыми, научными и ценностями искусства (именно в таком порядке у Риккерта), к которым ре-

⁹⁹ Это очевидно акцидентальная генерализация. Но ведь мужчины зачем-то собираются вместе, и с этим приходится считаться (например, их женам).

дуцируется объясняемое поведение и которые благодаря этому только и делают возможным понимание исторического процесса и саму историческую науку¹⁰⁰.

Мы приходим к выводу, что «акцидентальные генерализации» уникального пространственно-временных констелляций имеют место и в гуманитарных науках, и в естествознании. Они не могут быть отброшены как препятствия для познания и понимания как некие «неподлинны» научные законы, но требуются для динамических, эволюционных, исторических описаний.

Впрочем, и сам Гудмен возвращается к «историзму», когда говорит о необходимости исследовать историю научных предикатов, как бы доказавших свою эволюционную успешность. Парадоксальным образом именно *апелляция к прошлому*, к устоявшейся и утвердившейся семантике свойств (где свойство *быть зеленым* несомненно оказалось практически более «успешным», чем – синтаксически, логически и теоретически безупречное, т. е. всегда подтверждающееся при наблюдении – свойство *быть зелесиним*), в сущности, *традиция как некий уникальный процесс* заставляет считать некоторые свойства действительно общими, научно-генерализируемыми, а значит, обеспечивающими и понимание.

¹⁰⁰ У Риккерта такими медиа обобщения выступают «всеобщие культурные ценности» (allgemeine Kulturwerte). “Kulturwerthe allein machen die Geschichte als Wissenschaft möglich” (Rickert H. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die Geschichtswissenschaften. Freiburg, 1896–1902. S. 580).

Синтаксический проект, автоматизация понимания

Итак, «синтаксический проект» подтверждения научных законов потерпел фиаско именно потому, что оказался контринтуитивным, генерировал непонимание, связанное с появлением странных, но безупречных с точки зрения их подтверждаемости и генерализируемости свойств (типа *зелесиние*)¹⁰¹. Синтаксический проект состоял в попытках обосновать качественное и количественное подтверждения законов, машинизировать акцептацию законов и обобщений. Это сделало бы понимание событий и свойств квазиавтоматическим процессом. Понимание свойства или события не требовало бы в этом случае возвращения к истории слова, эволюции его семантики, воспоминаниям о том, что оно укоренилось и утвердилось в человеческом языке, традиции и культуре, а значит, – на этом основании – должно быть понятным.

Критерий Никода предполагал возможность количественного индуктивного перебора наблюдений, подтверждающих обобщение. Но именно логическая форма (синтаксис) приводила к парадоксам, где возникали предикаты типы «зелесинего» и, следовательно, любое позитивное подтверждение (зеленый изумруд) «научной» теории «все изумруды зеленые» приводило к подтверждению также и «случайных генерализаций», и «псевдонаучных генерализаций». Сомнительность качественных под-

¹⁰¹ Поиск чисто синтаксических критериев качественного и количественного подтверждения предполагает, что находящиеся под вопросом гипотезы формулируются в терминах, допускающих перспективную оценку; и такие термины не могут быть эксплицированы только синтаксическими средствами. *Hempel C. Aspects of Scientific Explanation*. N.Y., 1965. P. 51.

тверждений научных генерализаций продемонстрировал знаменитый «парадокс ворона», разрешающий кабинетные практики орнитологии.

Этот вопрос о возможностях естественного (т. е. семантического) характера понимания и ограниченности его синтаксической автоматизации требует отдельного рассмотрения.

Идеалы естественного хода вещей и понимание (стандартов) понимания

Вопрос понимания фундаментальным образом зависит от того, что может рассматриваться как естественно-понятное само из себя или само по себе, соответствует привычному ходу вещей и не требует объяснений. Именно на этом фоне появляются аномалии, нечто неестественное и необычное, требующие домысливания причин своего появления. Конечно, представления о «естественном порядке» постепенно менялись вместе с традицией человеческой мысли, а вместе с ними менялись запросы на понимание и объяснение.

Стивен Тулмин – в продолжение идей Гудмена об истории развития и утверждении «лучших» понятий – попытался реконструировать такие «идеалы естественного порядка природы», в контексте которых можно судить о том, что требует понимания и объяснения, поскольку отличается от нормального хода вещей. Но теперь речь идет скорее об эволюции понятий, изменении их семантики, а не об «успешной» истории «утвердившихся» лучших предикатов.

Тулмин задается неким метавопросом о том, как меняются стандарты понимания. Теперь уже нельзя говорить о большей или меньшей успешности предиката («зе-

ленного», имеющего долгую и успешную историю). Ведь даже один и тот же предикат в одном случае может требовать объяснения и дополнительных усилий для своего понимания, т. к. выступает аномалией, а в других случаях отвечает естественному порядку природы или «натуральному ходу событий» и в этом конформном статусе никак не рефлексивируется.

Наши идеалы естественного порядка маркируют для нас те процессы в мире вокруг нас, которые требуют объяснения, противопоставляя их «естественному ходу событий»... Наше определение естественного хода событий тем самым дано в негативных терминах: позитивные усложнения производят позитивные эффекты и скорее призваны объяснять отклонение от природного идеала, нежели конформное следование ему¹⁰².

Исследовать, с точки зрения Тулмина, надо не предикаты, а *метаморфозы стандартов понимания* – и только в их контексте! – научные теории и понятия.

Так, первый закон Ньютона требует объяснять исключительно *изменение* инерциального движения, а не само движение. Этот идеал противоречит аристотелевскому требованию объяснять само движение, указав на движущую инстанцию, внешнее усилие – причину движения, осуществляемого благодаря ей вопреки внешним препятствиям. Смена аристотелевской теории движения ньютоновской и есть изменение стандартов понимания и вместе с тем – представлений о естественном порядке вещей.

Такого рода стандарты часто соопределяются и некоторыми – традиционными – представлениями о социальном устройстве. В данном случае у этого представления о физическом движении обнаруживается некий «социальный коррелят» в повседневных представлениях о неком «социальном движении», «коллективной жизни», кото-

¹⁰² *Toulmin S. Foresight and Understanding. L., 1961. P. 79.*

рая, в свою очередь, требует некоторой организующей и направляющей внешней силы; как и о том, что свободное движение как физических, так и человеческих тел невозможно без насилия и принуждения¹⁰³.

Вопросы о понимании и объяснении возникает, если обнаруживаются аномалии – т. е. явления, противоречащие означенным «естественным идеалам». Как объяснить, например, что запущенное копьё продолжает движение и после того, как оно было отпущено метателем? Такое явление выглядит аномальным, и именно такие аномалии заставляют в конечном счете поставить вопрос и о понимании самих стандартов понимания.

Понять таковые метастандарты научного знания – значит попытаться представить это знание «очищенным» от контекста, доступного в «чистых», а не социализированных формах. Как же в этом смысле интерпретировать аристотелевское понимание движения? Понять аристотелевский идеал движения (инореференция) означает

¹⁰³ Социальная эпистемология «вскрывает» социальный характер этого типа знания и этим словно пурифицирует науку. И речь вовсе не идет об утверждении тезиса сквозной социальности научного знания и в этом смысле – о мнимой утрате в связи с этим его объективности. Социоэпистемологический тезис, напротив, создает предпосылки для аккумуляции знания, свободного от социальных и культурных предпосылок. Ведь теперь (применительно к вышеозначенному примеру) мы знаем, что понятие *усилие* как условия движения несвободно от социоморфных коннотаций и в этом смысле может быть изъято из «более узкого» научного словаря. Но очевидно и то, что для этого изъятия как раз и требуется собственный социоэпистемологический корпус нового метазнания и именно знания о том, что знание не полностью свободно от социальных предпосылок. Это выводит дискуссию за Сциллу и Харибду экстернализма и интернализма. Знание может быть свободным от социальных условий, если в нем зафиксированы и в перспективе устранены некоторые внешние детерминации.

понять, чем мотивировано (самореференция) его представление о том, что именно движение требует объяснения; в то время как покой в рамках *естественного места* (= традиционных иерархий) является естественным состоянием или порядком природы, а любое по видимости автономное поведение или движение на самом деле предполагает скрытый источник или контролирующую инстанцию¹⁰⁴. И именно здесь возможно подключение социоэпистемолога.

При этом социоэпистемолог вовсе заявляет вовсе не о том, что какие-то новообразованные *формы социальности* (автономизация индивидов, появление феномена личной индивидуальности) генерирует в Ньютоновском идеале и *новое физическое* представление об инертности тела, его способности двигаться автономно, без приложения внешних усилий и внешнего источника. Напротив, тезис социоэпистемолога состоял бы в том, что научное знание должно быть представлено как автономное от социальных предпосылок. Поскольку теперь появляется возможность показать (безразлично, воздействовали или нет соответствующие формы социальности на представления о физических явлениях), что представление о способности тела двигаться самостоятельно следует отличать от представления об автономности личности (способности индивида принимать самостоятельные решения). Лишь подключение социоэпистемолога делает возможным анализ этих взаимных метафора и, как следствие, выявление границ их взаимной аналогичности.

¹⁰⁴ Мнимая, с точки зрения Аристотеля, автономность движения летящего копья объяснялась им появлением воздушных завихрений, подталкивающих его сзади и восполнявших функцию *внешнего* источника движения.

Различие в наблюдательных перспективах как основание понимания и не-понимания

Две означенные выше и конкурирующие картины естественного порядка задают различные контексты для интерпретации одного и того же события или явления. Но эти контексты не являются произвольными или контингентными. Задача социоэпистемолога – поиск их глубинных оснований, которые могут состоять, например, структуре пространственно-временной координации участников научной коммуникации, в том, что перед ними открываются противоположные наблюдательные перспективы, которые они не в состоянии согласовать друг с другом. Ведь чтобы встать на чужую наблюдательную позицию и, следовательно, понять точку зрения на мир Другого, приходится осуществлять некое гештальт-переключение между означенными идеалами. Встать на позицию Другого (другого естественного идеала) – значит признать принципиально другой, новый смысл понятий.

Так, чтобы Ньютон смог принять новый (релятивистский) смысл понятия массы, ему бы пришлось отказаться от антропоморфного и антропоразмерного представления о пространстве, где позиция (и скорость) наблюдателя однозначно определена в рамках абсолютного пространства и абсолютного времени. Ему пришлось бы дистанцироваться от естественного и понятного для него мира абсолютных и нерелятивируемых величин, которые не меняются от изменения отношений объект-наблюдатель. Для этого ему пришлось бы отказаться от собственной позиции в мире, где рамки человеческого понимания (с его трехмерностью и конечностью) ограничивали возможности интерпретации макро- и микрофеноменов.

О такого рода гештальт-переключениях между *своими* и *чужими* наблюдательными перспективами (вслед за А. Куном) пишет Хансон. «Вообразите Кеплера, стоящего на холме и наблюдающего закат. С ним Тихо Браге. Кеплер видит солнце застывшим: а то, что движется, – это земля. Но Тихо, следуя Аристотелю и Птолемею, видит неподвижной землю, а все остальные тела движущимися вокруг нее. Видят ли Тихо и Кеплер одну и ту же вещь на закате?»¹⁰⁵.

Эта довольно стандартная ситуация взаимо(не)понимания описывает развитие научного знания, но характеризует сами основания человеческого восприятия. Так, начинающий пилот во время первого полета видит Землю вращающейся вокруг него, т. е. воспринимает себя в качестве центра (оси координат), тогда как опытный – воспринимает Землю в качестве неподвижной, а себя и самолет – как совершающий вращательное движение. Речь идет о глубинных ориентациях в рецептивной схеме *Я/Другое*, реализующихся в самых обычных повседневных ситуациях.

Например, даже и конкретные смыслы многих слов, самих по себе сохраняющих синтаксическую идентичность написания и произнесения (так называемых индексных выражений – *здесь, сейчас, затем, сзади, спереди, личные местоимения, понятно, естественно, прекрасно* и др.), меняют свои значения в зависимости от контекста, от того, кто их произносит, и не в последнюю очередь – от выбора в рамках вышеозначенного метаразличения: между тем, принимать ли себя в качестве неподвижного центра или же считать таковым окружающий мир, а себя принимать в виде своего рода мобильной перемен-

¹⁰⁵ Hanson N.R. On observation. In: Philosophy of Science: An Historical Anthology. Blackwell, 2009. P. 4.

ной. Все эти выражения получают свой смысл и значение только исходя из базового различения между тем, *кто* высказывается и считает ли он себя основным ориентиром или центром или же таковым выступает внешний мир¹⁰⁶.

Научные теоретизации и контрверзы могут возникать из повседневных, но фундаментальных коммуникативных трудностей и ориентаций. К индексным выражениям безусловно относятся и научные понятия, меняющие смысл в зависимости от того, в рамках каких стандартов понимания или «естественных порядков» они употребляются. Даже и научные (индексные) понятия всегда выполняют не только дескриптивную, но и некоторую коммуникативную функцию¹⁰⁷.

Тот же самый вопрос о *различающихся перспективах наблюдения* (как условиях взаимного непонимания) может быть поставлен и применительно к отношению между практикующими учеными и философами науки. В чем же принципиальная разность и схожесть их положения? Уче-

¹⁰⁶ Так, в требовании «остановитесь *перед* этим автомобилем!» предлог *перед* может указывать и на место *впереди*, и на место *позади* автомобиля в зависимости от того, что считать ориентиром или центром отчета: само высказывающееся лицо или автомобиль.

¹⁰⁷ «Индексные выражения служат предпосылкой социальному сближению и доверительности. Типичные индексные или контекстуальные понятия – это, например, имена, специфические обозначения и профессиональные выражения, но также это все те понятия, которые использует рассказчик для указания на нечто иное. ...Они основаны на допущении, что все участвующие разделяют совместное знание. Индексные выражения впитывают другое и изменяют его в согласии с контекстом, который определил рассказчик. По существу, речь идет о том, чтобы посредством смысла, который конституировала одна сторона, нацелить людей на общее согласие» (Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследование // Журн. социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 1. С. 98–124).

ный создает идеальную модель, которую и описывают законы. Но ведь и философ науки примерно то же самое, делает со своим предметом, наукой, а именно – создает ее идеальную модель, исходя из своей позиции наблюдателя науки. Именно из его (не менее научной) перспективы открываются разного рода counterfactuals («зелесиние» свойства предметов), т. е. логические возможности подтверждения абсурдного, возможности практиковать орнитологию за письменным столом, как это вытекает из парадокса ворона. И это совсем не то, что «открывается» наблюдению практикующего ученого, неспособного одновременно со своим предметом наблюдать и средства и условия собственного наблюдения.

Философия науки создает идеальную модель наблюдаемого объекта и в этом смысле (как настоящий ученый-наблюдатель) должна сама принимать решения, какие параметры или части науки (познания) включать в модель, а какие игнорировать как несущественные или неинтересные. Понимание философом науки и понимание ученого своего объекта различны, поскольку идеальные модели науки безусловно отличны от непосредственно осуществляющейся науки. Именно такой ответ можно дать на упрек Фейерабенда к традиционной философии науки и попыткам ее редукции к истории знания.

Фейерабэнд советует ученому не следовать никаким советам философа науки! (И этому совету должен следовать каждый ученый.) Но как же философия науки (низведенная Фейерабэндом до уровня истории науки¹⁰⁸) должна

¹⁰⁸ «Не существует, – пишет Фейерабэнд, – идеи, сколь бы устаревшей и абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше познание. Вся история мышления конденсируется в науке и используется для улучшения каждой отдельной теории... Вся история некоторой области науки используется для улучшения ее наиболее современного и наиболее “прогрессивного” состояния. Исчезают

конструировать собственную область, выбирать существенные (внутринаучные) и отклонять с ее точки зрения несущественные для истории науки события и достижения, не используя средства для такого отбора, избирательные схемы, методологию *свое/чужое*? И если философ науки выступает в роли историка, то кому как не ему принимать решения, по каким разделам, эпохам, дисциплинам, теориям и парадигмам упорядочивать и классифицировать материал. Сама история науки как фактический процесс вряд ли может помочь в силу ее неохватной комплексности. В любом случае и историку науки придется создавать модель истории науки, а следовательно, руководствуясь методологией и метотребованиями, заставляющими очень избирательно относиться к материалу.

Итак, именно различия наблюдательных перспектив (например, эпистемолога и практикующего ученого), представителей разных парадигм (например, Его-центрированного наблюдения Тихо Браге и Alter-центрированного наблюдения Иоганна Кеплера) обуславливают взаимное непонимание. Они не могут прийти к взаимопониманию друг с другом уже только потому, что находятся в разных измерениях, признают «естественными» разные порядки, метаустройства жизни. Однако фундаментальный источник их непонимания – это обычная трудность, вызванная приверженностью различным полюсам базовых коммуникативных дистинкций (различением *я/другое, людей/вещей* и т. д.).

Но насколько непреодолимыми являются такого рода разрывы? Новые возможности поиска понимания были обнаружены на уровне теорий среднего уровня, или на

границы между историей науки, ее философией и самой наукой, а также между наукой и не-наукой» (*Фейерабенд П.* Против метода. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избр. тр. по методологии науки. М., 1986. С. 125–46).

уровне конкретных законов. Ведь именно такие конкретные законы словно обладают большей «продолжительностью жизни», не меняются, несмотря на то, что теряют популярность и сторонников «всеохватывающиеся теории» и парадигмы.

О предметных и коммуникативных полюсах понимания

Мы вернулись к ранее заявленному тезису. Понимание в научной коммуникации (как и понимание во всяких иных формах и системах общения) двояко детерминировано. С одной стороны, понимание и взаимопонимание обеспечиваются через апелляцию к свойствам объектов, которые как бы принуждают к взаимному согласию по их поводу (предметное измерение научной коммуникации). С другой стороны, наука остается коммуникативной системой, и всякое научное предложение (и публикация) может интерпретироваться (среди прочего) как предложение к дискуссии, как выражение интенций исследователей, как реализация их честолюбивых замыслов и стремления к научному успеху – т. е. самореференциально (иметь своим предметом саму коммуникацию, а не ее внешний мир). Всякое научное предложение может замышляться, интерпретироваться и пониматься лишь как провоцирующее дискуссию, как вполне сознательное заострение проблемы, как осознанная идеализация реальности и существенное отвлечение от ее фактических свойств.

Причем именно научные теории делают возможным существенно абстрагироваться от предметного полюса в понимании научных предложений. Такой предметный полюс понимания (и, как следствие, сам фундамент научно-

го познания) не может образоваться и – всегда теоретически нагруженными – фактическими наблюдениями. Ведь с равной степенью убедительности можно обосновывать как базовый характер предложений наблюдения (Р. Карнап и Венский кружок), так и базовый характер теорий и их комплексов (П. Дюгем, У. Куайн, П. Фейерабенд).

В качестве промежуточного варианта – и в социальных науках Р. Мертоном («теории среднего уровня»¹⁰⁹), и в естествознании (Г. Фейглем) – было предложено рассматривать в качестве фундамента познания и основания понимания реальности эмпирические законы. Именно они должны были выступить некими базовыми единицами, атомами или неразложимыми частицами знания, обеспечивающими понимание и консенсус среди ученых, независимо от того, принимают ли они «охватывающие» теории. Ведь можно относительно свободно выбирать импонирующую теорию (волновую или корпускулярную в физике, функционалистскую теорию или утилитаристскую теорию в теоретической социологии) и подверстывать под нее подходящие наблюдения. Напротив, эмпирический закон обладает большей принудительной силой.

В повседневной коммуникации понимание *не может быть основано* на переносе – всегда гипотетических – единиц информации, поскольку участник коммуникации волен выбирать свою интерпретацию сообщения, считать ли информацией сообщения само описываемое в нем событие во внешнем мире или же рассматривать в качестве такой информации мотивацию, интенцию высказываю-

¹⁰⁹ Парадным примером таких теорий среднего и нижнего уровня служат «теория девиантного поведения» и «теория референтных групп» (Мертон Р. Продолжение анализа теории референтных групп и социальной структуры // Референтная группа и социальная структура. М., 1991. С. 106–256).

щего. Всегда сохраняется возможность проинтерпретировать предложение «идет дождь» как попытку мотивировать собеседника остаться дома. Напротив, в научной коммуникации роль предметно-ориентированных интерпретаций (извлечений информации из научных предложений) сообщений значительно важнее. Возможно, в науке на уровне теорий среднего уровня и эмпирических законов мы действительно обнаруживаем базовые единицы знания, которые принудительным образом обеспечивают (взаимо)понимание, заставляют участников полемики признавать правоту оппонентов, указывающих на ту или иную эмпирическую регулярность.

Должно быть ясно, – пишет в этом смысле Г. Фейгль, – что эмпирический “нижний уровень” законов редко подвергается сомнениям (*hardly ever questioned*). Я признаю, что в принципе допустимо, что астрофизические теории однажды предложат ревизию оптики, но я не впечатлен такими чисто спекулятивными возможностями, которые неумоимо изобретаются оппонентами эмпиризма с помощью шокирующе-абстрактной суперсophisticatedностью. ...Тысячи физических и химических (низкоуровневых) констант фигурируют в поразительно устойчивых эмпирических законах. Рефракция проявляется в бесчисленном числе прозрачных субстанций (разных типах стекла, кварца, воды, спирта), удельные веса, удельные температуры, удельные теплоемкости, теплопроводимости, электроемкости и электропроводимости десятков тысяч субстанций, закономерности химических составов, законы обратных квадратов в распространении звука и света, подобно закону Кулона в отношении магнитных и электрических взаимодействий... даже ньютоновские законы обратных квадратов для гравитационных сил, законы Ома, Ампера <...> Фарадея и так далее, все продолжают использоваться и необходимы для проверки теорий более высокого уровня¹¹⁰.

¹¹⁰ *Feigl H. ‘Empiricism at Bay?’ // Boston Studies in the Philosophy of Science. XIV. P. 48.*

Этим аргументом можно ответить и на аргумент Фейерабенда о том, что синтаксическая форма указанных законов и терминов, входящих в эмпирические законы, может оставаться неизменной, но их смысл меняется-де в зависимости от вхождения в те или иные «высокие теории». Так, масса в законах Ньютона не меняется от скорости, что отличает смысл этого понятия от его релятивистской интерпретации. Апеллируя к идее Фейгля, можно в ответ указать на то, что наблюдаемые факты зависят от теорий с точки зрения этих теорий, но в самой практике ученых именно теории оцениваются на предмет их соответствия эмпирическим обобщениям. В этом смысле релятивистская механика подтверждается практически лучше, чем механика Ньютона. Опираясь на Фейгля, мы можем заключить, что если в самом *предметном мире* обнаруживаются веские основания (эмпирические обобщения), принуждающие к взаимопониманию, то в этом смысле наука действительно существенно отличается от всех других типов коммуникации, произвольно флуктуирующих между самореференциальными и инореференциальными интерпретациями коммуникативных сообщений.

К предметному единству расходящихся наблюдательных перспектив: идея референциальной эквивалентности

Именно этот аргумент развивает И. Шеффлер в своей концепции «референциальной эквивалентности»¹¹¹ различающихся перспектив наблюдения (Тихо Браге и Кеплера). С точки зрения структуры коммуникации у лю-

¹¹¹ Scheffler I. Science and Subjectivity. Indianapolis, 1967.

бого суждения о предмете обнаруживаются как минимум два значения или смысла. Один – референциальный или объединяющий сообщество ученых, принуждающий их соглашаться друг с другом (можно назвать его значением понятия), и другой (собственно смысл), допускающий дискуссию. Так, мы можем судить о планете Венера как о планете Венера, равной самой себе и сохраняющей собственную идентичность и утром, и вечером. Но мы можем судить о планете Венере как данной одному наблюдателю утром, а другому наблюдателю – вечером. В этом случае к понятию Венеры (в перспективе реализизма) добавляется некий – внешний – признак ее особенной *данности* в наблюдении (конструктивистская перспектива). Именно смыслы суждений разъединяют коммуницирующих наблюдателей и препятствуют взаимопониманию.

Шеффлер рассматривает и менее тривиальный гипотетический случай. Допустим, Ньютон и Эйнштейн обсуждают ускорение электрона в синхротроне. Их суждения в отношении электрона являются референциально-эквивалентными, ведь они имеют перед собой некоторый общий предмет суждения – электрон. Однако это понятие оказывается концептуально расщепленным, т. к. в разных случаях проявляет различную семантику. Возникает вопрос, можем ли мы найти основания, которые убедят нас в адекватности того или другого смысла, и тем самым согласовать наши различающиеся наблюдательные перспективы? Согласно Шеффлеру, мы должны говорить об «удобстве» той или иной семантики в конкретной ситуации. И в этом смысле использование гештальт-анalogии, согласно которой Тихо Браге якобы видит нечто отличное от того, что видит Кеплер (см. выше), представляется скорее неадекватным. Разные классификации, по мнению Шеффлера, еще не свиде-

тельствуют о различности самих классифицируемых объектов и свойств. Различаясь, они все еще могут оставаться «референциально-эквивалентными».

И действительно, для одних исследовательских целей было бы достаточно одного (скажем, ньютоновского) понятия массы, и в этом случае ее более точное измерение (в соответствии с релятивистским пониманием) было бы избыточным и в этом смысле бессмысленным расходом измерительных мощностей. Для других целей нужно более точное ее измерение. Следовательно, нужно лишь подобрать критерии адекватности для выбора того или иного смысла синтаксически-тождественного и референциально-эквивалентного научного понятия.

Итак, взаимопонимание и согласие (понимание как консенсус) возможно не только по поводу объекта (референта), но и по поводу выбора его смыслов, его семантики. И именно смысл (концепт) референта определяет выбор подходящей теории, обеспечивающий больший предсказательный успех. Концептуально различия тем не менее характеризуют не разные предметы, но все-таки относятся к одному референту. И именно поэтому мы можем говорить о понимании одного и того же предмета или референциально-эквивалентного понятия, что вместе принуждает нас к согласию по его поводу. Если бы мы говорили о разных референтах и разных понятиях, то взаимопонимание было бы невозможным.

Таким образом, идея «референциальной эквивалентности» в каком-то смысле спасает идею рациональности науки и научного прогресса. Для расчета траектории ракеты – понятным образом – ученый выбирает птолемеевскую (геоцентрическую) концепцию, а для расчета орбит и периодов движения планет – столь же понятным образом – геоцентрическую. Один и тот же объект

в разных обстоятельствах может концептуализироваться по-разному и более или менее четко. И предсказательный успех поведения объекта в его различающихся концептуализациях и приближение к нему может быть большим или меньшим. В любом случае обнаруживается объектно и объективно заданная мера, или предметно определенный эталон, который Шеффлер называет “yardstick of descriptive adequacy”. Поэтому концепты, т. е. когнитивные достижения ученых, все-таки могут получать объективную оценку, несмотря на то, что являются делом выбора, т. е. результатом собственной активности ученых, их относительно свободного конструирования. В этом смысле мы понимаем друг друга, если учитываем, в каких случаях (т. е. руководствуясь каким исследовательским контекстом) ученый предпринимает (выбирает) соответствующие концептуализации.

Summary

In this monograph the author analyses the theory of communication taken not in its entire and most comprehensive format but in a special epistemic and systematic interpretation. The special attention is paid to the *generalized symbolic media of communication*. One usually includes into the set of such media both some universal means of distribution of communication (language, writing, book-printing, and telecommunication) and the symbolic tools of achievement of communicative success in the specific areas of communication known as out-differentiated subsystems of society: science, political system, economy, religion, family, art, education etc.

In this case the special question is put about *the truth and the knowledge* as these special symbolic means that enable for the particular kind of scientific communication to establish itself and to distinguish itself from all other forms of human intercourse, and exactly through the orientation towards these general symbols. At the same time in such analysis of the scientific communication the author considers some possibilities of researching this phenomenon as a genuine subject of scientific analysis. And in addition to the universal time-space-dimensions the communication here is considered also in framework of its supplementary – personal-collectivistic – dimension or horizon.

The following problems, notions and concepts are treated in the book: the form and the media (in the approach of *Fritz Heider* and *George Spencer-Brown*) as foundations of the theory of communication and psychic systems; language and writing as the communicative media of knowledge diffusion; the *Knowledge/Ignorance*-distinction as an axis of social differentiation; the tele-communicative media of the contemporary societies; the cognitive and normative media of communicative success: the medium of truth and its genesis from the value attitudes; the scientific knowledge in the individual and the systems-communicative perspectives with a special attention paid to the ideas and approaches of the *Science and Technology Studies* (STS, Sergio Sismondo, Trevor Pinch), the *Actor-Network-Theory* (ACT, Bruno Latour), and the *Theory of Social Systems* (TSS, Niklas Luhmann).

Научное издание

Антоновский Александр Юрьевич
Коммуникативная философия знания:
от теории коммуникативных медиа
к социальной философии науки

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

Художник Н.Е. Кожина

Технический редактор Ю.А. Аношина

Корректор И.А. Мальцева

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 25.06.15.

Формат 70х100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 6,53. Тираж 500 экз. Заказ № 18.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Т.В. Прохорова*

Компьютерная верстка: *Ю.А. Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119991, Москва, Волхонка, 14, стр. 5

Информацию о наших изданиях см. на сайте Института философии:

<http://iph.ras.ru/arhive.htm>

Вышли в свет

1. **Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 8 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. Ф.Г. Майленова. – М. : ИФ РАН, 2014. – 252 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0270-6.**

Проблема понимания – одна из основных в современной философии. Она одинаково важна и для континентальной философской традиции, которая опирается на герменевтику и гуманитарные науки, и для аналитической традиции с ее опорой на точное естествознание и натурализм. Проблема понимания является интегральной, примиряющей обе традиции и позволяющей им понять друг друга.

Авторы размышляют о философских аспектах понимания, исходя из разных перспектив. Представители аналитической традиции связывают понимание с анализом языка и прояснением языковых конструкций. Сторонники социоэпистемологического подхода размышляют о понимании в культурном и практическом контексте.

2. **Взаимосвязь фундаментальной науки и технологии как объект философии науки [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Редкол.: Е.А. Мамчур (отв. ред.). – М. : ИФ РАН, 2014. – 227 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0260-7.**

Анализируется проблема взаимоотношения фундаментальной науки и технологии. Акцент делается на эпистемологических аспектах проблемы: роли фундаментальных теорий в получении технологических инноваций; механизмах включения теоретического знания в процесс получения новых технологических достижений; различиях между фундаментальным и прикладным знанием; статусе понятия технотехники; соотношении истины и пользы.

Особое внимание уделяется социальным и этическим аспектам взаимоотношения науки и технологии, а также вопросам, традиционно относящимся к сфере философии техники.

Книга адресована тем, кто интересуется вопросами философии науки и техники на современном этапе их развития.

3. **История философии. № 19 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. А.В. Черняев. – М. : ИФ РАН, 2014. – 285 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 1 000 экз. – ISSN 2074-5869.**

Данный выпуск журнала содержит статьи и публикации по истории русской мысли. Публикуемые исследования посвящены, в частности, концептуальным вопросам истории русской фило-

софии в широком проблемно-хронологическом диапазоне; рецепции русскими мыслителями идейных традиций древности (египетской и греко-римской); социокультурным и инфраструктурным аспектам истории русской философии; а также творчеству таких русских мыслителей, как Максим Грек, И.И.Лапшин, Н.О.Лосский, Б.Н.Чичерин и др. Предлагается новый взгляд на историю и перспективы полемики западников и славянофилов. Освещена панорама истолкований русскими философами начала XX в. феномена войны. Наряду с исследовательскими статьями, публикуются новые источники (фрагменты древнерусского перевода трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных именах» и фрагменты воспоминаний Г.Н.Трубецкого). Издание адресовано специалистам, аспирантам, студентам и всем интересующимся историей русской философии.

4. ***Кара-Мурза, А.А. Интеллектуальные портреты: Очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 3 [Текст] / А.А. Кара-Мурза ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2014. – 215 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0278-2.***

Книга известного философа и политолога, доктора философских наук А.А. Кара-Мурзы (третья в авторской серии «интеллектуальных портретов») представляет собой сборник оригинальных биографий крупнейших деятелей русской культуры и политики – Александра Пушкина, Николая Станкевича, Тимофея Грановского, Андрея Краевского, Ивана Аксакова, Ивана Тургенева, Михаила Стасюлевича, Антона Чехова, Николая Бердяева, Петра Струве, Федора Степуна. Автор продолжает выстраивать родословную либерально-консервативной, культуроцентричной традиции русской общественной мысли.

5. ***Кудаев, А.Е. Трагедия творчества в эстетике Николая Бердяева [Текст] / А.Е. Кудаев ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2014. – 255 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 228–254. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0268-3.***

В монографии анализируется одна из ключевых проблем наследия Бердяева – концепция трагедии творчества. В работе впервые раскрывается роль и концептуальное значение феномена трагического в философско-эстетической мысли Бердяева. Показывается неизбежность выхода философа на проблему трагедии творчества, его причины и определяющая структурно-смысловая роль данной проблемы во всем его наследии. Рассматривается определяющее влияние бердяевской концепции трагедии твор-

чества на осмысление философом таких основных эстетических категорий, как красота, совершенство, а также на его понимание искусства.

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, а также широкой аудитории, интересующейся историей русской культуры.

6. **Лысенко В.Г. Шантаракшита и Камалашила об инструментах достоверного познания [Текст] / В.Г. Лысенко, Н.А. Канаева ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФРАН, 2014. – 295 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 280–294. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0276-8.**

Монография включает переводы с санскрита и анализ двух логико-эпистемологических глав («Исследование восприятия» и «Исследование вывода») известного буддийского «Собрания категорий» («Таттва-санграха») Шантаракшиты с комментарием «Панджика» Камалашилы (оба – VIII в.). Поскольку буддисты обосновывают свою теорию через опровержение конкурирующих теорий всех главных систем, их текст содержит ценную информацию по истории не только буддийской, но и всей индийской эпистемологии и логики.

Книга адресована как историкам философии, так и специалистам в области теории познания и когнитивных наук.

7. **Малевич, Т.В. Теории мистического опыта: историография и перспективы [Текст] / Т.В. Малевич; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2014. – 175 с.; 20 см. – Библиогр.: с. 154–174. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0261-4.**

Исследования мистического опыта занимают одно из основных мест в современном западном религиоведении, провоцируя острую дискуссию о сущности мистических переживаний, возможности их концептуализации и правомерности оперирования категорией «мистический опыт» в научном дискурсе. В монографии проводится обзор концепций мистического опыта, выявляется их эвристический потенциал и демонстрируется динамика развития в XX–XXI вв.: от раннего эссенциализма (У.Стэйс и др.) и конструктивизма (С.Кац, Дж.Хик и др.) до психологического перенниализма (Р.Форман и др.) и альтернативных когнитивных подходов (Р.Стадтилл, Э.Тэйвз).

8. **Методология науки и дискурс-анализ [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. А.П. Огурцов. – М. : ИФ РАН, 2014. – 285 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0256-0.**

Исследуются концепции и формы дискурса в истории мысли. Прослеживается основная линия в дискурс-анализе – дивергенция в трактовке дискурса. Альтернативной тенденцией является поиск единых эпистемологических оснований дискурс-анализа – текст, идеология, коммуникация, синергия. Показана неадекватность сужения поля исследований, его ограничения гуманитарным знанием и приложением методов лингвистического анализа текстов. С привлечением отечественной и зарубежной литературы сопоставляются методы герменевтики и дискурс-анализа, рассматриваются жанровые особенности философии, место логики в философии, важность предметного содержания для исследований дискурса, ценностные ориентиры ряда речей в судах.

Для историков философии и науки, филологов и всех интересующихся методами анализа рассуждений.

9. **Научно-техническое развитие и прикладная этика [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред.: В.Г. Горюхов, В.М. Розин. – М.: ИФ РАН, 2014. – 303 с.; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0277-5.**

Сборник посвящен междисциплинарным проблемам научно-технического развития, в ряду которых важное место занимают проблемы прикладной этики. Философия техники – установившееся название одного из направлений современной философии. Все виды современной техники имеют как положительные, так и отрицательные для общества последствия и несут в себе технологические, экологические и социальные риски. Техногенные катастрофы, связаны они с природными катастрофами или отказами техники из-за их неправильного использования или же неверного конструирования, всегда становятся социальными катастрофами, а значит должны «регуливаться» обществом. Технологические риски осознаются сегодня как социальные и поэтому их открытое, в том числе и философское обсуждение представляется нам весьма актуальным. Дискуссия за круглым столом, опубликованная в этом сборнике, посвящена обсуждению технических рисков как социальной проблемы.

10. **Ориентиры... Вып. 9 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. Т.Б. Любимова. – М. : ИФ РАН, 2014. – 199 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISSN 2222-4351.**

9-й выпуск «Ориентиров...» посвящен исследованию разных аспектов идеологии. В нем рассматриваются процессы, происходящие или происходившие в нашей стране, например судьбы легитимности в постсоветский период, общие вопросы соотношения идеологии с властью и культурой, публичным и частным пространством; затрагиваются и исторические аспекты, такие как становление имперской идеологии в России, а также исследуется вопрос о значении традиции для современности, и в этой связи публикуются главы из книг Рене Генона «Общее введение в изучение индуизма», где обсуждается соотношение между метафизикой, религией, философией, моралью.

11. **Петрова, Е.В. Человек в информационной среде: социокультурный аспект [Текст] / Е.В. Петрова ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М. : ИФ РАН, 2014. – 137 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0257-7.**

Монография посвящена анализу социокультурного аспекта бытия человека в информационной среде. Этот аспект рассмотрен через призму проблемы адаптирования информации человеком. Проанализированы исторические корни современной информационной среды и их связь с доминирующим в тот или иной период способом хранения и передачи информации (устный, письменный, печатный, электронный). Информационная культура представлена как необходимое условие успешного бытия человека в информационном обществе, как часть процесса формирования глобального культурного поля человечества. Рассмотрены также изменения в образовательной сфере, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий.

12. **Познание и сознание в междисциплинарной перспективе. – Часть 2 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.А. Лекторский. – М. : ИФ РАН, 2014. – 221 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0280-5.**

Книга представляет собой продолжение проводимого коллективом авторов исследования проблем эпистемологии и философии сознания в контексте интеграции знаний, подходов и методов разных дисциплин. Анализируются вопросы, связанные с эволюцией человека и биологическими предпосылками кризисных явлений в современном обществе, соотношением биологическо-

го и социального при формировании и функционировании человеческого Я, развитием прогнозирования и новыми подходами к предвидению и проектированию. Достоинства и трудности междисциплинарного подхода выявляются при рассмотрении современного положения в научных исследованиях, в частности проблем воспроизводимости и ценности научного знания, уместности метода реконструкции в отдельных областях гуманитарной науки, оппозиции «сциентизм–антисциентизм», а также анализе нормативного знания и проблемы счастья. Помимо этого демонстрируется актуальность ряда ранее выдвигавшихся философских концепций и идей в контексте современных междисциплинарных изысканий.

- 13. Понимание в кросс-культурной коммуникации [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. И.Т. Касавин. – М. : ИФ РАН, 2014. – 199 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0273-7.**

Проблема понимания – одна из основных в современной философии. Она одинаково важна и для континентальной философской традиции, которая опирается на герменевтику и гуманитарные науки, и для аналитической традиции с ее опорой на точное естествознание и натурализм. Проблема понимания является интегральной, примиряющей обе традиции и позволяющей им понять друг друга.

Авторы размышляют о философских аспектах понимания, исходя из разных перспектив. Представители аналитической традиции связывают понимание с анализом языка и прояснением языковых конструкций. Сторонники социозпистемологического подхода.

- 14. Проблемы философии культуры. Вып. 2 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. С.А. Никольский. – М. : ИФ РАН, 2014. – 207 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0275-1.**

В сборнике ставится задача прояснить понимание истории как философской проблемы; рассмотреть формулу сопряжения жизни и смерти в русской литературе; проанализировать сущность заповеди любви к ближнему, образующей этическую основу правосознания; показать взаимосвязь памяти, истории и идентичности; представить гендерный подход в философии культуры и философской антропологии; исследовать феномен сакрального в аспекте повседневности.

15. **Пространство как трансцендентальная предпосылка познания реальности [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Редкол.: Е.А. Мамчур (отв. ред.) и др. – М. : ИФ РАН, 2014. – 108 с. ; 20 см. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0262-1.**

Пространство рассматривается как трансцендентальная предпосылка описания реальности в естественнонаучном и гуманитарном познании. Анализируются современные дискуссии о фундаментальности (или нефундаментальности) понятия пространства для теоретического постижения фундаментальных структур. Особое внимание уделяется осмыслению альтернативных моделей пространства в естественных и гуманитарных науках. Анализируется роль идеи пространства в формировании современных теоретико-физических гипотез и в понимании феноменов культуры.

Монография адресована всем тем, кто интересуется философскими проблемами современной науки.

16. **Социально-исторические и идейные основы современного российского государства [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.Н. Шевченко. – М. : ИФ РАН, 2014. – 221 с. ; 20 см. – Библиогр. в примеч. – 500 экз. – ISBN 978-5-9540-0263-8.**

В коллективной монографии рассматривается философский смысл происходящих перемен в идейно-духовной ситуации в российском обществе. Предпринята попытка дать современное понимание идеологии как сложного, многопланового идейного феномена, организующего социальную жизнь. Анализируются полемика относительно природы российского государства, роль философии в достижении общенационального согласия, консолидации и единства российского общества.

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также для широкого круга читателей, интересующихся идейно-духовным состоянием современного российского общества, возможностями создания национально-государственной идеологии.